

# **НОВЫЙ ГРАД**

**14**



**CITÉ NOUVELLE**

# НОВЫЙ ГРАД

под редакцией

И. Бунакова и Г. Федотова

14

ПАРИЖ

1939

## СО Д Е Р Ж А Н И Е :

От редакции .....	5
<i>Н. А. Бердяев.</i> Испанская трагедия перед судом христианской совести .....	15
<i>Мон. Мариа.</i> Четыре портрета .....	26
<i>П. Н. Алексеев.</i> О сопротивлении при помощи силы ....	40
<i>П. М. Бицилли.</i> Урок истории .....	61
<i>Н. О. Лосский.</i> Экономический строй и интеллектуализация общества .....	69
<i>В. С. Яновский.</i> «Доклад Свифтсона» (отрывок из романа)	79
<i>Ю. Нваск.</i> Апология пессимизма .....	89
<i>Г. П. Федотов.</i> К смерти или к славе? .....	100

## И д е н и ж и з н ь

<i>Иером. Лев Жилле.</i> Письма немецких пасторов из тюрьмы	112
<i>Е. А. Извольская.</i> Французская интеллигенция после Мюнхена .....	114
<i>Е. Ляжерт.</i> Пути Израиля .....	124
<i>Л. Закутин.</i> О третьем социализме .....	131
<i>Д. Владимиров.</i> Религия национал-социализма .....	136

## От редакции

№ 14 «Нового Града» выходит в напряженное страшное время. Всю эту зиму и весну мы живем под угрозой войны — не где-то там, в отдалении, а совсем близко, вплотную подошедшей к нам: не сегодня-завтра, и мы проснемся под грохот воздушной атаки, среди обвала домов и ползущих ядовитых газов. Единственное облегчение — сознавать, что это состояние стало хроническим и что несколько месяцев тому назад оно было, несомненно, еще более мрачным.

Многие говорят, что мировая война давно уже началась. Она лишь приняла новые, невиданные формы. На некоторых пространствах мировой карты она свирепствует открыто: в Китае, в течение 3 лет в Испании, — с невероятной жестокостью. В других местах, в Средней Европе, война стала латентной или «сухой». Происходят военные действия, передвигаются армии, захватываются целые страны, но пушки молчат — ибо побежденные сдаются без боя. За год, протекший после выпуска последнего номера «Нового Града», Центрально-Европейская Ось завоевала три государства: Австрию, Чехо-Словакию и Албанию. Еще ранее Абиссинию. Сейчас угроза нависла над Данцигом и, следовательно, над Польшей. Но здесь, как известно, и наступил перелом.

Перелом обозначился в тот момент, когда Англия и Франция сказали свое «нет». Дальнейшему наступлению положен предел — покамест, дипломатический. За ним стоит лихорадочное вооружение Англии и милитаризация хозяйства и политики Франции. В то же время идет глухая, но активнейшая работа по созданию и укреплению двух блоков. Кое-какие малые государства Средней и Северной Европы пытаются сохранить свой нейтралитет. На-

долго им это удастся не может. Европа распадается на два гигантских союза, непрерывно вооружающихся и готовых ежедневно вступить в смертельную борьбу.

Мы живем опять, как в грозное лето 1914 года, с той только разницей, что теперь нет места беспечности, что от войны не спрятаться; и все мы знаем, что в случае войны нам ожидать. Теперь едва ли кто-нибудь делает себе иллюзии насчет последствий «победы». Мы знаем по опыту: современная война не знает победителей, — а только побежденных. Разрушения войны и всеобщее оскудение не соизмеримы с политическими преимуществами, которые может дать военная победа. Да и как еще это преимущество будет использовано? Демократическая Европа победила в 1918 году, и перед ней открывались, казалось бы, неограниченные возможности замирения и реорганизации мира. Все эти возможности она упустила и через 20 лет стоит перед тем же врагом, только окрепшим и в своей жестокости, и в своей воле к мировому господству.

Если вдуматься в те силы, которые помешали гуманитарно-демократическому замирению Европы, то мы увидим, что они сводятся все к последствиям войны. Это глубокое моральное потрясение кровавых лет, которое не проходит, а углубляется и поражает мало-по-малу все области культурной жизни. На одной стороне это мстительность, комплекс унижения, жажда реванша, всра в насилие и презрение к человечности. На другой — страх, подозрительность, малодушие... Фашизм — как и коммунизм — прямое наследие войны. Демократия не может существовать в обществе, которое живет для войны или которое в войне почерпает весь свой социальный и политический опыт. Это создает, конечно, большое неравенство между странами демократии и фашизма по отношению к войне. Демократия ненавидит войну — совершенно искренно, от Блюма до Чемберлена: в войне она может найти свою гибель. Фашизм в войне обретает источник своих сил. Чем более грубеет и дичает общество, тем легче оно фашизируется. Не война сама по себе останавливает фашистских вождей, а перспектива разгрома и личной гибели.

Это неравенство усугубляется еще различным отношением к культуре. Современная демократия благоговеет перед культурой, как системой накопленных ценностей. Гибель библиотек, музеев, соборов для нее невыносима. Фашист с легким сердцем идет на разрушение культуры. Вандализм по инстинктам, он приветствует полудикую жизнь в джунглях, то новое «здоровое» и беспамятное варварство, в которое он готов свергнуть Европу.

Что делать? Демократии нечего стыдиться этой своей слабости. Демократия создана не для войны, а для мира. Наиболее совершенные, тонкие и сложные формы общественного строя отказываются служить в условиях варваризации. Война всегда означает затмение демократии. Но если Европа выживет и выйдет из фазы войны, в которую она вступила, будет жить и демократия, реформированная и обновленная. Не выживет — вместе с нею погибнет и демократия, конечно. Но для демократии обязательно приспособление к новой суровой обстановке войны. Ей приходится взять нечто от своего врага, чтобы спасти остальное. Она берет авторитарные формы, порой диктатуру, но отвергает тоталитарность. Англия переходит к принудительной военной службе, что для нее всегда казалось равносильным рабству. Франция отказывается от громоздкой парламентарной машины и переходит к личному режиму. Что это, измена? Нет, единственное средство спасения. Диктатура есть неизбежное дополнение демократии, — спасительное, поскольку она строго ограничена временем и функциями и роковое, — поскольку вырождается в тиранию. О последнем вырождении для демократий Западной Европы смешно пока и говорить.

Поскольку демократия сохраняет свое настоящее духовное лицо, она не может легко идти навстречу войне, не может играть в расчете на победу. Весь смысл ее трагической игры — в предотвращении войны. Этим, а не одним лишь страхом, объясняется, лишенное внешнего достоинства, поведение в дни Мюнхена (сентябрь 1938 года). Эта дата останется, конечно, одной из позорнейших в истории. В результате предательства — гибель Чехосло-

вакии, переход к Германии 1.000.000 солдат, с огромным военным потенциалом. Рядом с этим можно поставить почти сознательную сдачу Испании державам Оси. И все-таки, с последней оценкой событий надо обождать. Кутузов отдал же Москву, а Фабий — Рим. Мы не знаем, какими силами располагали западные державы в дни Мюнхена. Надо думать, что во главе их стояли — и стоят — не круглые идиоты, и их вожди хоть смутно понимали, что они отдают. Надо думать, что они должны были отдать, ибо решающие дни застали их неподготовленными. Демократия пропустила огромное военное возрождение Германии, и за это должна теперь платить. Она и заплатила отступлением последнего года, потерей союзников, германской гегемонией в Средней Европе.

Теперь отступление пришло к концу. Вооружения Англии и моральная перестройка свободных народов делают возможной более активную борьбу за мир. Но мир, а не война и не победа остаются и сейчас последней целью. На чашу мира бросается теперь вся тяжесть современных вооружений. Чтобы спасти мир, нужно иметь подавляющий перевес военных сил на стороне, не желающей войны. В этом сейчас единственный шанс. Достигнут ли уже сейчас такой перевес? Нет, не достигнут, и в этом главная опасность. Враг может ускорить взрыв, понимая, что промедление уменьшает его преимущества.

В таких условиях борьба за Россию приобретает роковой смысл. От того или иного ответа Москвы зависит судьба войны и мира. Россия снова выходит из своей изоляции, в которую замкнул ее Сталин, и становится на путь мировой политики. В каком смысле, мы этого еще не знаем. Когда пишутся эти строки, Москва еще не сделала своего выбора. Если она сохранит нейтралитет (на большее Гитлер вряд ли рассчитывает), Германия, вероятно, поспешит с развязкой. Договорится она с Лондоном, сумеет Сталин преодолеть недоверие и нерешительность старого консерватора, и шансы мира сразу выростут. Вместе с Россией у западных демократий перевес сил обеспечен, и Гер-

мании придется очень серьезно подумать, прежде чем броситься в пропасть.

Появление коммунистического СССР в лагере демократии поднимает вопрос об идеологическом характере обеих европейских коалиций. В какой мере политическая идеология и строй определяют цели борьбы и распределение сил? Вожди западных демократий всеми силами протестуют против «идеологической войны» или против попыток придать назревающему конфликту идеологический смысл: борьба демократий против тоталитарной диктатуры. Присоединение России к демократическому лагерю как будто действительно лишает его всякого идеологического смысла. Что общего между демократией и сталинским фашизмом? Или это «левый» фашизм, и борьба идет между левым и правым фронтом? Коммунизм и демократия, может быть, составляют вместе то, что называется «народным фронтом»? Так хочет понимать дело русская пораженческая эмиграция, вместе с западными коммунистами. Но народный фронт с Чемберленом и французскими консерваторами — это есть уже просто вздор. Всякий понимает, что для Франции и Англии вопрос идет о самосохранении, о жизни, и что они протягивают руку Сталину, преодолевая естественное отвращение. Так много лет тому назад слагалась Антанта, явно лишенная всякого идеологического содержания. Союз западных демократий с русским самодержавием? Но Америка, готовая поддержать сейчас демократическую Европу, поднимает идеологическое знамя. Фашистские вожди без идеологии вообще обойтись не могут. Где правда?

Правда в том, что война, тлеющая в Европе, имеет двойной источник. С одной стороны, это восстание побежденных или неудовлетворенных в 1918 году. Германия, Италия и ряд мелких государств имеют основания требовать нового передела Европы с отменой Версальского мира, который не соответствует новому соотношению сил. Побежденные вчера оказываются сегодня сильными, если не сильнейшими, и предъявляют требования уже не только на равенство, но и на господство. Этот конфликт возник бы,

вероятно, и в том случае, если бы политический строй Германии и Италии ничем не отличался от строя западных держав. Надо признаться только, что в этом случае наше отношение ко многим конкретным вопросам было бы совершенное иное.

Это ясное и простое столкновение интересов осложнилось фашистской революцией. Идеологическая война родится именно в стане побежденных, и эта идеология необычайно затрудняет мирное решение после-версальских проблем. Фашизм, во-первых, провозглашает единственной ценностью в политике народную мощь и экспансию, делая невозможными искренние переговоры на почве права. Во-вторых, с точки зрения экспансии, есть разница между справедливым возвращением своего и захватом чужого. Нет морального предела войне. Она останавливается лишь перед силой, и своим пределом имеет мировое господство. В-третьих, фашизм, сам по себе, есть идеализация насилия и войны. Еще Ницше говорил: «Хорошая война оправдывает всякую цель». Революционный фашизм живет, мыслит и чувствует в духе этой максимы. Вот почему создается глубокая связь между внутренней и внешней политикой фашизма, между тоталитарной тиранией и войной. Россия не составляет исключения. Ее внутренний фашизм неразрывно связан с духом милитаризма. Счастье в том, что Россия находится в состоянии обороны. Ее соседи с Запада и Востока думают об экспансии за ее счет. Поэтому ее воинственность вменяется в рамки обороны и делает ее естественной союзницей западных демократий.

Для демократий — война есть величайшее зло, мир — бесценное благо и право — священо. Конечно, мы говорим о современных демократиях. В эпоху своей революционной юности и они отдали дань Марсу. Но сейчас их идеология располагает к пацифизму.

Будем откровенны. Не все обстоит благополучно и в лагере демократий. Их миролюбие и праволубие слишком связаны с защитой приобретенных благ. Богатому легко стоять на почве закона. Победителю, навязавшему свой мир, легко говорить о верности договорам. Но в основе

их лежит старая несправедливость, и право давности всего не покрывает. Колониальный раздел мира в значительной мере покрыт правом давности. Но для Версаля эта давность еще не наступила. В любой из речей фюрера и дуче, среди криков безумной ярости попадают слова, которые отзовутся укором в сердце искреннего демократа. Да, все, чего добилась Германия, она получила путем насилия. Пока она была лояльной и участвовала в Лиге Наций, ее третировали. Ее стали уважать и бояться лишь после прихода Гитлера к власти. Версаль и особенно после-версальские годы несут в себе злые силы войны. Версальский договор, в значительной мере, ликвидирован, — но не вполне. И кое-какие лохмотья его помогают облекать в правовые одежды и самые захватнические требования. Известно, какое значение сыграли требования судетского меньшинства в аннексии Чехословакии. Демократическая совесть, а не одна демократическая трусость, была смущена призраком справедливости германских притязаний. Это, во всяком случае, верно для английского общественного мнения. А поскольку эти требования поддерживаются реальной силой, угрожающей взрывом Европы, сопротивляться им особенно затруднительно.

Вот почему, помимо вооружений и вслед за вооружениями, реальная программа мира должна включить план пересмотра и передела Версальской Европы.

Это задача небывалой трудности. Всякая уступка, справедливая или несправедливая, увеличивает и средства и напор военных держав. В этом опасность ревизионизма. С другой стороны, захватчики должны иметь перед глазами мирную альтернативу. Если не все, то нечто, существенное для их национальных интересов, они должны иметь надежду получить путем переговоров, взаимных уступок, сотрудничества. Иначе для них остается лишь путь войны. Ибо режимы, созданные насилием и живущие миром побед, не выносят бессильного прозябания. Гитлер и Муссолини, вероятно, предпочтут гибель на войне, вместе со всей Германией и Италией, одинокой собственной гибели. Вожди демократии должны проявить величайшее ди-

пломатическое искусство, чтобы растянуть во времени и ограничить в содержании эти неизбежные уступки, в расчете на выигрыш времени и радикальную перемену политической обстановки. По существу, действительное разрешение версальских проблем предполагает атмосферу умиротворенной Европы, создание действительного международного коллектива, облеченного властью и силой. Ни одна меньшинственная проблема в настоящее время — не разрешима в рамках самодовлеющего национального государства. Да и ни одна экономическая тоже. Лига Наций погибает или существует в виде своей тени, но она должна жить, если суждено жить Европе. Но жить, не как безвластный парламент наций, а как подлинный суверен — и притом единственный суверен Европы. (О мире пока говорить преждевременно).

Прежде, чем это станет возможным, очевидно, тоталитарные режимы должны перестать существовать. И последняя надежда на жизнь европейского человечества, действительно связана с гибелью всех фашистско-коммунистических тираний. Волей — не волей, «идеология» вступает здесь в свои права. Ибо есть идеологии, несовместимые с миром, не допускающие сосуществования и сотрудничества народов. Что эти идеологии не вечны, ясно само собой. Но мы уже видим своими глазами, как быстро они изнашиваются. В России коммунизм за 20 лет переродился в свою противоположность. В Германии и Италии, по словам всех очевидцев, чувствуется почти всеобщая усталость. Революционная пора фашизма прошла. Он опирается еще на молодежь и на преторианцев, но массы (и особенно средние классы) уже не увлекаются им. Они позволяют вести или гнать себя, но ворчат. В интеллигенции просыпается тоска по проданной ею свободе. Могло ли это быть иначе? Если мы не потеряли надежды на спасение души русского народа, почему отчаиваться в Германии? Сейчас многие поддаются страстному чувству горечи и ненависти по отношению к насильникам, которые заставляют терять всякую меру в оценках. Ненавидят уже не расизм, а немецкий народ, с его душой, с его культур-

ной традицией, с его великим прошлым. Как будто опыт трех великих народов, сорвавшихся в пропасть, не говорит красноречиво о том, что катастрофа не объяснима из национальных пороков. Три провалившихся народа — это три «передовых» или модернистских народа, те, у которых сказались всего слабее консервативные устои. Они очутились впереди других, — т.-е. ближе к яме, и свалились в нее. Та же судьба грозит и всем, отсталым, но еще идущим той же дорогой, — если они не найдут другой.

Здесь мы возвращаемся к основному сферу «Нового Града». Лишь опыт — или хотя бы серьезный план — нового строительства, на новых духовных началах, может преодолеть и пассивность демократий, плывущих по течению, и энергию мнимо-конструктивного, а на деле разрушительного тоталитаризма. Люди, «сидящие во тьме и сени смертной», — в Германии, в России, решатся сбросить с себя цепи полу-добровольного рабства, когда увидят, что есть иной выход; что мир может быть построен не на железе и крови, а на праве и свободе. Пока этой альтернативы нет, пока право и свобода служат лишь для самосохранения или продления агонии старого мира, они не соблазняют рабов и мучеников сатанинского строительства. Поэтому последний ключ к решению мирового кризиса, к преодолению войны — в духовно-социальном возрождении европейского, некогда христианского человечества.



Россия, которая играет сейчас в мировых событиях, такую важную и такую двусмысленную роль, по-прежнему окутана почти непроницаемым туманом. По-прежнему в ней не раздается ни одного свободного голоса, и все, что пишется и говорится там, если и является функцией действительности, то функцией, выражающейся очень сложным математическим уравнением. Легче ли хоть сколько-нибудь стало дышать там, когда опасность войны надвинулась вплотную? Ничто не дает права на такое заключение. Пошли разговоры — в который раз! — об уважении



к интеллигенции. Но рабство литературы показывает, какова цена этих разговоров. Национализация коммунизма продолжается — в ускоренном темпе, — но также продолжается, на первый взгляд бессмысленная борьба, с религией. Если в ней есть какой-нибудь политический смысл, он для режима убийственный: он означает, что всякая отдушина, всякая духовная жизнь — оказываются в непримиримом противоречии с потерявшим последнее нравственное оправдание режимом. Если в атеистической кампании нет никакого смысла, то каков же политический смысл самой диктатуры, которая ведет религиозную войну с народом, накануне мировой войны? И та, и другая гипотеза несут с собою приговор Сталину. И однако его власть не оспаривается. И сейчас как будто прошли сроки для счастливого предвоенного переворота. Россия входит в полосу тяжелых и ответственных событий, обремененная своим хроническим, истощающим недугом. С тревогой и болью смотрят на нее из горького «далека» сохранившие ей верность сыны. Выдержит ли? Устоит ли в грозе и буре? Найдет ли в себе внутренние силы возрождения, или новая война будет и концом России?

Повидимому, эти чувства совершенно чужды той части русской эмиграции, которая, со времени пришествия Гитлера к власти, поставила карту на завоевание и расчленение России. За последний год, в связи с ожидавшимся (и отложенным) походом Германии на Украину, пораженчество и гитлеровская ориентация разрослись чрезвычайно, захватывая и некоторые круги, которые присвоили себе роль носителей «национального общественного мнения». Эти русские националисты с легким сердцем превратились в интернационалистов и изменников. Конечно, не всякое пораженчество можно квалифицировать, как национальную измену. Опыт эмиграций всего мира требует осторожности в оценках. Но при настоящем, необычайно трудном международном положении России, которое угрожает самому ее существованию как России (а не только как Великой России), знак равенства между пораженчеством и изменой вполне заслужен. По мере того, как надвигается война, рус-

ские эмигранты занимают свои места — многие и в чисто военном смысле — по разным линиям фронта. Всякое единство эмиграции при этих условиях перестает существовать. Между русскими гитлеровцами и нами такая же пропасть, как между нами и коммунистами. По счастью, не все еще сделали свой выбор, и выбор не всегда — окончательный. Борьба за спасение русских людей — для России и для духовного мира — является единственной доступной большинству из нас и совершенно настоящей формой нашего служения родине и свободе.

## Испанская трагедия перед судом христианской совести<sup>1)</sup>

Испанская проблема представляется более сложной для христианского сознания, чем проблема русская или германская. Отношение к фронту генерала Франко, который прикрывает католичеством свое кровавое насилие над несчастным испанским народом, есть пробный камень христианской совести. Французские католики разделились по оценке Франко. Лучшие католики Франции очень болезненно почувствовали отвратительную ложь в том, что Франко выставил на своем знамени католичество. Франко много хуже Гитлера и Муссолини, которые все-таки опирались на какое-то движение внутри страны, не истребляли своей страны и не убивали своего народа при помощи иностранцев. Фронт Франко называет себя национальным, в то время как он состоит главным образом из итальянцев, немцев и арабов. Остроумна и справедлива была карикатура: Франко в беспокойстве разводит руками и говорит: «Я не могу быть спокоен, пока хоть один испанец останется на моем фронте». Война, которую ведут «нацио-

<sup>1)</sup> Статья эта была написана до занятия ген. Франко Барселоны. Но это ничего принципиально не меняет.

налисты» франкисты, была объявлена «священной» войной. Она «священна», потому что ведется яко бы против коммунизма. Идея «священной» войны вообще есть ложь и соблазн, война никогда не бывает «священной», как не бывают «священными» никакое государство, никакая власть, никакое насилие. Война же испанская есть, слишком очевидно, классовая война господствующих классов, поддерживаемых церковной иерархией, против испанского народа, против народного фронта. Если что-нибудь может быть названо «священным», так это героизм испанского народа в его борьбе. Я не думаю отрицать, что было много дурного сделано анархистами и коммунистами на республиканском фронте, не думаю отрицать безобразия религиозных гонений, расстрела священников, сжигания храмов, хотя правительство пыталось с этим бороться. Красная революционная Испания имеет то огромное преимущество перед так называемыми националистами, что она не провозглашает себя католической и потому не обязана следовать заветам Христа. Фронт Франко провозглашает себя прежде всего антикоммунистическим фронтом, этим он придает идеологический характер своей борьбе и хочет вызвать широкие симпатии. Но антикоммунистический фронт вообще есть ложь и шантаж. Это не идейный и не бескорыстный фронт, он состоит или из защитников капитализма и несправедливой собственности или из фашистов, которые повсюду хотят ввести свою собственную жестокую диктатуру, повсюду хотят истребить свободу. Быть идейным противником коммунизма совсем не значит принадлежать к антикоммунистическому фронту. Я могу вести духовную борьбу против коммунизма и как раз обличать в нем фашистские черты, но к антикоммунистическому фронту могу не принадлежать вследствие нежелания быть в дурном обществе. В международной политике сейчас происходит грандиозный шантаж на почве борьбы с коммунистической опасностью, этим прикрывается воля к могуществу и к насилию и очень облегчается реализация своих экономических и национальных интересов. Национализм есть также

прикрытие самых безобразных вождений, самых зоологических инстинктов. Можно удивляться, если в наше время находятся еще люди, которые могут верить всей этой лжи.

Испанское католичество имеет ужасное прошлое. Именно в Испании католическая иерархия была наиболее связана с феодальной аристократией и с богатыми. Испанские католики редко становились на сторону народа. В Испании наиболее расцвела инквизиция. Для народных масс, для угнетенных создались очень тяжелые ассоциации с католической церковью. Христианам приходится теперь расплачиваться за грехи прошлого, за измену Христу. Странно было предположить, что час расплаты никогда не наступит. Странно, что в нынешний час истории находятся еще христиане, которые думают, что католическая (или православная) вера может сохраняться лишь при поддержке государства и при привилегиях, связанных с богатствами. Это есть неверие. Испанские кардинал Coma, роль которого отвратительна в испанской войне, и который и наименовал «священной» войну генерала Франко против испанского народа, счел возможным сказать: «La richesse est la force et le lien de tout système social et politique». Этим он цинически обнаружил буржуазно-капиталистическую подоплеку своей яко бы католической деятельности. Роль епископов в испанской трагедии вообще была отвратительна, за исключением трех. Редки такие епископы, как Mugica, который сказал: «Je préfère une Eglise persécutée à une Eglise en esclavage». Большая часть священников в республиканской Испании вели активную борьбу против народа и стреляли из церквей, превратив их в крепости, они стали военными фронта Франко. В лагере франкистов пролитие крови на войне приравнилось евхаристической жертве, что есть настоящее кощунство. Происходили крещения танков и наречения их именем Божьей Матери. Появление таких книг, как книга известного романиста Bernanos'a, католика и правого, «Les grands cimetières sous la lune», свидетельствует о том, что в современном ужасе сохранились люди с чуткой со-

вестью, не потерявшие чувства правды и сознания чести. Эта книга есть страстный обвинительный акт против того, что происходило на фронте Франко. Очень интересна и поучительна книга «Le Christ chez Franco» Raymond'a Alcala, которая и послужила поводом для написания этой статьи. Книга эта представляет собой собрание документов и притом почти исключительно католиков, часто сочувствовавших Франко и в ужасе отшатнувшихся от его дела. Книга рисует положение католичества в завоеванных им частях Испании. Обыкновенно думают, что положение католичества ужасно в республиканской Испании. Но вот оказывается, что у Франко, выставяющего католичество лозунгом в борьбе, положение это не лучше и даже сейчас хуже. Об этом свидетельствуют сами католики. Книгу Alcala особенно полезно прочитать русским, среди которых преобладают отвратительные настроения по отношению к испанской войне, отчасти основанные на незнании и нежелании знать.

Положение независимого католического духовенства в Испании Франко ужасное. В книге «Le Christ chez Franco» приводятся слова одного иезуита, что, если бы священники были в оппозиции Франко, то они все были бы расстреляны. Баски — очень верующий католический народ, но они вместе с тем демократы и республиканцы. Это делает положение басков очень тяжелым. Архиепископ Бургоса отлучил басков. Священники-баски подверглись настоящему гонению. В книге Alcala приводится довольно точная статистика гонений Франко против священников и монахов басков. Епископ Mugica, который предпочитал, чтобы церковь была гонима, чем поработана, был изгнан. Большое количество священников и монахов было расстреляно или посажено в тюрьму. В Vittoria 287 духовных лиц пало жертвой гонений. В диоцезе Vittoria санкции были применены к 2.017 священникам. Независимое слово Церкви не допускается у Франко. Малейший суд христианской совести над жестокостями, ничего политического в себе не заключающий, сопровождается расстрелами. Церковная иерархия превращена в послушное ору-

дие гражданской войны. Убивают врагов во имя Божье, но, когда во имя Божье протестуют против зверских убийств, то за это тоже убивают. В Испании Франко даже месса делится на белую и красную, и месса, которую служил священник-демократ, не считается действительной. Церковный культ тесно соединяется с орудиями убийства. Врагов, а таковые все не сочувствующие Франко, иногда погребали живыми. Отказывались исповедывать трех детей басков, потому что родители не франкисты. Трудно перечислить все ужасы и безобразия. В Испании очень почитается образ Св. Иакова, который побеждает мавров. Образ этот, очень популярный в народе, хотели сохранить. Это образ воинствующего католичества, в нем св. Иаков сражается с врагами христианской веры. Но пришлось изменить этот образ. Франко ведет войну при помощи арабских войск, т.-е. тех мавров, которых победил св. Иаков. Поэтому сначала мавры были совсем стерты на образе. Потом сделали еще большее изменение. В последней трансформации образа на белой лошади св. Иакова находится уже мавр, побеждающий красного испанца. В книге Alcala приведены фотографии этого образа. Это символически показывает отношение к католичеству Франко и его фронта. Многие католики ездили на фронт Франко, вначале ему сочувствовали, и вернулись не только разочарованными, но в ужасе от увиденных безобразий. Даже официальная правая католическая газета «La Croix» печатает статьи, обличающие действия франкистов, унижительные для католической церкви и для христианства. Во Франции нашлись католики, которые правду поставили выше интересов, выше распространенных католических предрассудков. Необходимо особенно отметить Маритена, самого выдающегося католического мыслителя Франции, который ведет борьбу за правду и за это подвергается оскорбительным нападениям. Так и Мориак, менее определенный и не сочувствующий красным, ведет себя благородно в испанском вопросе. В католическом мире всегда находятся подобные люди. Есть часть католиков, которая борется за социальную справедливость и за сво-

боду суждения христианской совести о происходящем в мире. К стыду нашему, нужно сказать, что этого почти нет в мире православном, который находится в состоянии косности. Православного голоса не слышно. Осуждается только большевизм и благословляются правые течения. Румынский патриарх стоял во главе правительства, что само по себе чудовищно и вряд ли согласно с канонами, и в качестве власти совершает кровавые насилия. В Румынии обнаружился даже православный расизм, что невозможно в католичестве, которое все-таки не забывает о христианском универсализме. Карловацкий митрополит Анастасий пишет приветствие Гитлеру, который преследует христиан. Православная церковь не возвысила своего голоса против оргии антисемитизма, против бесчеловечности расистских доктрин в защиту достоинства человеческой личности и свободы духа, в то время как католическая церковь в лице папы это сделала. И нет ничего более несправедливого, чем относить все ужасы, зверства и кошмары, которые творятся на фронте Франко, на счет католичества, что православные любят делать.

В нашу эпоху все оценки искажены аффектами и делаются не по существу. В создавшейся ложной и лживой атмосфере очень повинен русский коммунизм, который совершил слишком много насилий и жестокостей, напугавших и людей, сочувствующих социализму. Средства, допускаемые коммунистами, вызвали сомнение в доброкачественности самих целей. При помощи тирании нельзя осуществлять царство свободы. Главное зло, совершенное русским коммунизмом, быть может, заключается в той реакции страха, которую он вызвал в мире. Коммунизм вызвал к жизни фашизм, захвативший большую часть Европы и даже мира. И нужно сказать, что сходство между этими смертельными врагами поразительно. Коммунизм вызвал реакцию страха утери своей собственности и своего положения в обществе, но реакция эта научилась методам борьбы, практиковавшимся самим коммунизмом. Наиболее ложными представляются мне обычные суждения, обличающие коммунистические безбожие.

Не коммунизм выдумал безбожие. Буржуазное общество давно уже есть общество безбожное, не только в своих сознательных идеях, но и в своей жизни, что гораздо важнее. И христианство приспособившееся к этому обществу, давно уже не есть настоящее христианство. Это христианство было настоящим соблазном для малых сих. Таков, например, евхаристический конгресс в Будапеште, который превратился в воинствующий лагерь генерала Франко. Существует специальная молитва франкистов, в которой между прочим говорится — «я верю в Франко, человека всемогущего», и «я верю в собственность». Вера в Франко и вера в собственность более искренняя и более подлинная, чем вера в Бога и Христа. Фалангисты, которые есть настоящие испанские фашисты, враждебно относятся к Ватикану и даже готовы порвать с католической церковью. Это сближает их с германскими наци и это лучше, чем прикрывать себя католичеством. В той лживой атмосфере, в которой приходится сейчас жить, коммунистами считают всех, находящихся на стороне республиканской Испании. Некоторые по невежеству и ограниченности считают всех демократов, социалистов и анархистов-синдикалистов коммунистами, но большинство делает это смешение для целей демагогических, чтобы внушить страх перед всеми испанцами, не покорившимися Франко. Это частный случай той лжи, которая делит мир на фашистов и коммунистов. Участие русских коммунистов в испанской войне искажает перспективы и питает ложное о ней суждение. Можно только сочувствовать тому, что советская Россия помогла испанскому народу, послав авионы, и можно только сожалеть о том, что демократические государства этого не сделали своевременно. Отказываясь помочь испанскому народу, Франция нанесла себе страшный удар. Но вместе с авионами прибыли в Испанию агенты Г.П.У., они начали разыскивать «троцкистов», организовали шпионаж, сажали в тюрьмы и расстреливали, возбуждали процессы, схожие с московскими. С ними не легко бы бороться испанскому правительству. Вся атмосфера исказилась. Правительство Negrin'a, кото-

рый заслуживает сочувствия, сделало попытку установить в Испании религиозную свободу, это отчасти удалось ему, хотя не вполне, так как трудно справиться с бушующей стихией. Во всяком случае республиканское правительство в принципе более признает религиозную свободу, чем правительство Франко, которое в принципе ее отвергает. Мораль испанского опыта та, что церковь ни в коем случае не должна пользоваться услугами сомнительных и злых сил, если не хочет быть порабощенной. Христиане не могут участвовать в ненависти. Это не значит, конечно, что они должны оставаться нейтральными и не участвовать в борьбе.

Христианство было чудовищно искажено в угоду человеческим интересам, оно было приспособлено, обезврежено, порожденные им конфликты сглажены, его сделали религией, подходящей к среднему человеку, который желает господствовать в жизни. Социальные влияния постоянно давили на церковь, государство постоянно требовало, чтобы церковь его обслуживала, и это деформировало даже самую христианскую доктрину. За религиозно-церковной борьбой скрывались экономические интересы и империалистическая воля к могуществу. Религиозный феномен был также феноменом социологическим и религиозная социология на многое может пролить свет. Отношение между верующими христианами и воинствующими атеистами гораздо сложнее, чем думают официальные христиане. Атеисты могут быть лучше тех, которые почитают себя ортодоксальными христианами, справедливее, человечнее, свободолюбивее, бескорыстнее, жертвеннее. Чернышевский был атеистом, но он был близок к святости, в то время, как средние православные стояли на довольно низком моральном уровне. Человек может сделаться атеистом из интеллектуальной добросовестности, от искания истины, от невозможности примириться со злом и страданиями мира. Атеизм может быть диалектическим моментом богопознания, очищением богопочитания от элементов идолопоклонства. Не тот настоящий христианин, кто говорит «Господи, осподи» и творит дела

злости, ненависти, мести, убийства. Христианин лишь тот, кто творит дела, к которым призывал Христос. В марксизме есть много отрицательного и подлежащего критике, философия марксизма для нас неприемлема. Но социальная правда во всяком случае более на стороне марксизма, чем на стороне феодально-капиталистического христианства кардинала Сота и генерала Франко. Евангельский призыв любить врагов обыкновенно понимается сентиментально и в сущности не принимается всерьез. Между тем как в нем заключается глубочайшая истина о выходе из магического заколдованного круга ненависти и мести, из которого труднее всего вырваться человеку. Любовь к врагам есть освобождение, отказ от подчинения закону мира. Закон мира есть закон ненависти и мести. Христос гооврит вовсе не только о врагах «личных». Это было слишком выгодное оппортунистическое истолкование. Евангельская истина относится и к врагам религиозным, национальным, социальным, идейным. Истоковывать любовь к врагам так, что это не относится к тем, кого вы реально считаете своим врагом, есть порождение человеческой хитрости. Враги большевиков ни за что не согласятся признать их теми врагами, которых Евангелие призывает любить. Большевиков считают нужным убивать, пытаться, погребать живыми и даже признавать это истинно католическим и православным делом, признавать свою ненависть священной. Но это есть совершенно то же, что ненависть к «классовому» врагу, проповедуемая коммунистической моралью. Нет не то же, а в тысячу раз хуже, ибо коммунисты имеют преимущество не быть христианами. Христианам не все дозволено, даже слишком многое не дозволено, для христиан и «классовый враг» остается человеком. Различие между личной и социально-государственной моралью есть лицемерие и корыстная ложь. Не думаю, чтобы безобразный в своей социально-государственной морали ген. Франко мог быть хорошим христианином в своей личной морали. Пора, наконец, решительно заявить, что всякая личная мораль социальна, всякая социальная мораль лична. Жестокость, убийства,

коварство, лживость политических деятелей, есть просто жестокость, убийства, коварство, лживость человека, есть просто преступность, свойственная впрочем большей части «государственных» деятелей. Эти деятели, иногда признанные «великими», стоят ниже не только евангельской морали, — все ниже ее, а и морали просто человеческой, просто морали, делающей различие между добрым и злом.

Нельзя оправдывать религиозные гонения, хотя бы гонимые были виноваты, все гонители отвратительны и низки, отвратительны гонители, почувствовавшие свою силу. Но всего отвратительнее гонители, которые сознают себя христианами. Христиане должны прежде всего сознать свою вину и покаяться. Вместо этого находятся христиане, которые сочувствуют генералу Франко и его каинову делу. Так еще раз совершается измена Христу и еще раз наносится страшная рана христианству. Необходимо не только личное покаяние, которое легко превращается в условную риторику, необходимо социальное покаяние, покаяние в социальных грехах и неправде, покаяние церквей. Духовно бороться против коммунизма имеют право лишь те, которые обличили социальную неправду, породившую коммунизм. Остро ставится в наше время вопрос об отношении христианства к государству и политике. И слишком многие христиане приходят к легкому и упрощенному решению, которое пагубно для христианства и от которого более всего нужно предостеречь: христианам предлагают быть за то государство, которое будет защищать Церковь, покровительствовать ей и ставить ее в привилегированное положение, они должны быть за такую политическую партию, которая на своем знамени выставляет церковь и сулит людям церковным разные блага. На это нужно сказать: христиане никогда не должны стоять за подобное государство, которое хочет превратить церковь в свое послушное орудие, никогда не должны стоять за подобные партии, которые хотят использовать в своих интересах церковные силы. Это есть рабство церкви, гибель христианства в мире. Такого рода тоталитарное государство есть чума для христианства, хотя может быть выгодно для кня-

зей церкви. Государство, которое символически объявляет себя христианским, теократическим государством, есть самое плохое, самое зловердное для судеб христианства государство. Мы русские должны молить Бога, чтобы у нас больше никогда не было «православного государства» и жить надеждой, что подобное несчастье никогда не случится. Нужно предпочесть государство, которое преследует, государству, которое подкупает и превращает в орудие. Лучше всего нейтральное государство, которое дает свободу, не будет гнать христиан, но не будем им и покровительствовать, не будем позорить христианской символики делами, ничего общего с христианством не имеющими. Необходимо перейти к христианскому реализму, к реальному осуществлению христианства в жизни. Реально наиболее христианским будем наиболее человеческое государство, которое будет менее убивать, менее казнить, менее оставлять голодными. Не имеет никакого значения риторика, провозглашающая что-либо христианским. Риторика погубила христианство в мире. Христиане должны стать не на сторону тех сил и течений, которые признают себя «христианскими», это носит чисто словесный характер, а на сторону тех сил и течений, которые реально защищают духовные и человеческие ценности — правду, свободу, справедливость, милосердие, христиане должны их и признать христианскими. Это значит, что церковь должна разорвать всякую связь с социальными силами, которые проникнуты волей к господству, являются угнетателями, защищают несправедливость. Церковь не может предлагать своих услуг тем, которые борются за свои классовые интересы и привилегии. Это, казалось бы, вопрос элементарный, о котором почти неловко говорить. Осуждение папой расизма и антисемитизма, защита достоинства человеческой личности служит делу христианского возрождения. Защита католиками генерала Франко и его борьбы губит христианство. Христианство стоит над бездной и наступает решительный час, час выбора, — может быть, самый решительный час в христианской истории. Если христиане и христианские общества не порвут с тем своим прошлым,

которое было изменой, превратившейся в традицию, если по-прежнему будут практиковать бессовестный конформизм и защищать интересы клерикальные, если будут поддерживать неправду, то христианство начнет увядать в мире, оно будет сжиматься до очень малого числа. Мы живем в эпоху духовно-реакционную, возненавидящую свободу, жаждущую насилия и потерявшие совесть католики и православные фашистского типа могут на короткий час восторжествовать. Они будут порабощены и в конце концов им грозит бесславная гибель. Их гибель меня мало интересует, но интересует судьба христианства в мире. Эта судьба зависит от реализации христианами всяческой правды, от победы реальной правды над условно-символической ложью.

Николай Бердяев.

## Четыре портрета

С точки зрения демократически-обывательской, современная картина мира могла бы быть изображена очень обычным образом: некий страшный дракон, как бы трехглавый удав, стережет невинную царевну, попавшую к нему в плен. Все три головы дракона караулят каждое ее движение, неотрывно смотрят ей в глаза. Могущество дракона безмерно, — одним движением он может уничтожить царевну, зачаровать ее взглядом, задушить кольцами своего тела, уязвить своими отравленными жалами. Царевна же невинна и бессильна. Избавителя у нее нет. Она во власти дракона. Дракон должен вызывать ужас и ненависть, царевна, — сочувствие и любовь. Но никакая ненависть не может обессилить дракона, никакая любовь не может спасти царевну. Разве только, что она немного перевоспитается по драконьим способам воспитания, сама, так сказать, одраконится. Или разве что драконовы головы начнут пожирать одна другую, и так и изойдут во вражде сами к себе, в припадке самоистребления. Карти-

на эта, несомненно, настолько похожа на то, что нас окружает, что каждый легко узнает, каковы имена этих трех голов, и кто царевна. Общественные симпатии делятся между драконом и царевной. Одни преклоняются перед могуществом дракона и убеждены, что только он один и может властвовать в мире, другие сочувствуют царевне и верят, что она рано или поздно освободится от дракона. Мне же кажется нужным как-то разобраться беспристрастно в истинной сути и дракона, и царевны и, может быть, вынести нравственный приговор им обоим.

В насилии и крови великой войны родилось до того неведомое миру чудовище. Идея классово-борьбы и классово-ненависти воплотилась в России в страшное обличье советской власти. Характеристика ее отчетлива, ясна, и не вызывает никаких сомнений. Отрицание человеческой личности, удушение свободы, культ силы, преклонение перед вождем, единое обязательное для всех мирозерцание, борьба со всякими отклонениями от генеральной линии партии или, что то же, — вождя, — будь отклонения в каком-либо мелком злободневном экономическом вопросе, или в самых существенных взглядах на мир, на человеческую судьбу и т. д. Постепенно коммунизм стал не только некой философски-экономической системой, но своеобразной вульгарной религией, пытающейся иметь свое мнение буквально по отношению ко всему, что существует в жизни. Можно было бы без труда составить точную догматику коммунизма, — да она и составляется в бесчисленных катехизисах. Она обнимает собою все, — отношение к экономике, к истории, к вопросам искусства, к принципам бытия. Правда, для утверждения догматов этой религии не нужно никаких соборов, — вождь прокламирует их и тем самым делает их обязательными, а всякое отступление от них надо воспринимать как недопустимую ересь. Самое замечательное, что и авторы этих отступлений, будучи осуждены авторитетным высказыванием вождя, сами признают свою еретичность, каются в ней и умоляют о воссоединении с непогрешимой партией. На почве этой своеобразно религиозной психоло-

гии естественно вырастает самая неограниченная нетерпимость ко всем инакомыслящим и инаковерующим. Расцветают систематические религиозные гонения, охватывающие не какое-либо одно религиозное исповедание, а буквально все. Лагеря набиты представителями всех церквей, всех исповеданий, сект, направлений, мирозерцаний. Новая вера осуществляет себя кровью, пытками, мучительством. Она — едина, тоталитарная истина, — остальное должно быть подвергнуто полному истреблению. Моральная оценка этого положения вещей не нуждается ни в каких сложных наблюдениях. Картина ясна и отвратительна. Гораздо сложнее вопрос о том, откуда русский коммунизм берет свою силу, чем он внутренне питается, на чем продолжает расти. Давно уж экономисты и политики, — чуть ли не с первых дней существования коммунизма, — предрекали его скорую и бесславную гибель: ни экономические его мероприятия, ни исторические условия его существования, ни внешняя обстановка, — ничто не давало возможности думать, что коммунизм прочно обоснуется в России. Однако вот уже двадцать лет звучат эти предсказания о его гибели, а на самом деле он продолжает существовать и погибать не собирается. Как это объяснить? Думается, что, в противность всем мнениям различного рода специалистов, правильным будет лишь мнение того, кто подойдет к вопросу с религиозной точки зрения. Коммунизм держится лишь тем, что дает, — пусть отравленное, — питание жажде человека иметь целостное, религиозное мирозерцание. Именно своим религиозным пафосом он жив, потому что этот пафос совершенно видоизменяет природные человеческие силы, природное напряжение человеческих мускулов, человеческой воли и человеческого разума, он их удесятеряет, он сообщает им творческое начало, которое всегда, подобно некоему чуду, преображает законы естества. Коммунизм жив этим страшным, черным чудом своим, своей страшной, черной религией, целостностью, интегральностью, — интегральной ненавистью, интегральным растворением человеческой личности в коллективе, интегральной верой в исти-

ну, которая прорекается устами вождя, сверхчеловека, пророка из пророков, черным и страшным мессией черной и страшной своей церкви. Да, во-истину, в сознании рядового коммуниста Россия управляется сейчас сверхчеловеком, во власти которого находится возможность изменить и отменить и законы истории и законы природы. В России явлен подлинный человекобог, которого еще так недавно предрекал нам Достоевский. И естественно, что этот человекобог вступил в борьбу с Богочеловеком и Его Богочеловечеством, — со Христом и со Христовой Церковью. Что это? Быть-может, мои слова звучат для кого-либо слишком мистически, скажем, не научно? Не отвечают современным данным экономической и исторической науки? На это я скажу, что всякая научная гипотеза ценна только тогда, когда жизнь подтверждает сделанные ею предположения. Так вот, все самые научные гипотезы самых отличнейших специалистов в области экономики, политики, истории и т. д. — все в корне опровергнуто жизнью: не падает коммунизм, да и только, хотя все сроки падений прошли, и новые сроки проходят. Таким образом ясно, что об этих бывших научных теориях и гипотезах сейчас говорить не приходится. А вот мистическая и туманная теория, видящая в коммунизме новую страшную веру, и в этом находящая объяснение его сверхприродной творческой силы, — эта теория пока жизнью опровергнута не была, и потому заслуживает не только такого, как и другие теории, но гораздо большего внимания, чем они. Христианские мученики современной России, наверное, все понимают, что ведут сейчас борьбу «не против крови, и не против плоти, а против духов злобы поднебесной». Церковь оказалась пред лицом не какой-то кабинетной доктрины, марксизма, скажем, а пред лицом антицеркви, пред лицом некоего организма духовной природы, и потому чрезвычайно могущественного и действительно способного отменять и изменять законы материального мира. Такова первая голова современного дракона.

В хронологическом порядке вторым возник этатиче-



ский тоталитаризм фашизма. Мне представляется, что и идейно, и физически это самый слабый из всех тоталитаризмов. И в его этой относительной слабости довольно много причин. В первую очередь, фашизм возник не вне традиций, не вне исторических культов и очарований. Муссолини бредит этатизмом древнего Рима, он столько же новатор, сколько и реставратор. А это уж не годится для того, чтобы иметь подлинную силу. Реставрируемое в свое время было уничтожено, — другими словами, существуют силы, которые были сильнее, чем Римская Империя. Ее нельзя пропагандировать, как нечто от века несокрушимое. Если она была сокрушена раз, то и второй раз ее можно сокрушить. И мы знаем, что ее победило. В первую очередь, это было христианство, конечно, которое раз'ело, разложило сердцевинную, религиозную сущность Римской Империи. Думається, что относительная слабость фашистского этатизма объясняется именно этой раз уже в истории бывшей утратой религиозно-творческого пафоса, окружавшего идол Римской Империи. Италия не может забыть этого исторического прошлого, тем более, что перед ее глазами, в самом сердце современного языческого Рима находится все тот же древний Ватикан, уже раз победивший могущество Рима. И он не молчит, он не мертв. Он уверен в своем духовном могуществе, в своей религиозной непобедимости и непогрешимости. Но, оставив в стороне эти специфические особенности фашизма, определим только те основные свойства, которые говорят нам о его принадлежности к тому же самому драконьему телу. Мы увидим ту же борьбу против человеческой личности, тот же культ коллектива, ненависть к свободе, обязательность известного стандартного мирозерцания, восприятие основных принципов фашизма чисто догматически, без рассуждения и с благоговением. Наконец, и отношение к вождю носит такой же характер, как и в советской России, вождь так же непогрешим, так же диктует не только основные принципы обязательного мирозерцания, но и директивы на текущие потребности каждого дня. Так же сила заменяет право, так же вводится

в обиход начало насилия. Оговорюсь только еще раз, что, благодаря некоторым специфическим условиям, — и типу основного идола, — этатизма, и месту, где его культ развивается, — все черты, общие с коммунизмом, кажутся несколько более бледными, не так ясно выражены, притенены. Но в сущности, между ними никакой принципиальной разницы нету. Можно сказать так: коммунизм строил на обширном пустом месте, и потому по своему усмотрению возводил стены воздвигаемого здания, — для фашизма же необходимо было считаться с развалинами стен, среди которых он строил новое, — и они несколько видоизменили его собственных замысел.

Наконец, третий тоталитаризм, — религия расы, проповедуемая в современной Германии. В смысле лежащей в основе этой религии идеи, надо сказать, что она безусловно гораздо беднее, партикуляристичнее, даже провинциальнее идеи коммунизма. Коммунизм может претендовать на некоторый универсализм, на всеобъемлемость своего основного принципа. Коммунизмы могут развиваться в различных расах и государствах, не соперничая друг с другом, а, наоборот, подкрепляя и поддерживая друг друга. Везде есть хижинки, объявляющие войну дворцам, пролетарии всех стран могут соединяться, лишь выигрывая от этого соединения. В расизме положение противоположно. Перед человеком, принявшим современный расизм, стоят две возможности. Или он примет расизм в его германской редакции и вместе с Гитлером и Розенбергом уверует в особую мессианскую избранность германской расы, которой должны подчиниться все низшие расы, в том числе и его собственная. Или же он, приняв основной принцип расы, создаст свою собственную расу-избранницу, которой должны покориться остальные. Обе эти возможности легко себе представить, да они и в реальности существуют. Но первая из них вряд ли может найти широкое распространение и создать подлинный пафос, просто потому, что вряд ли широкие слои любого народа с восторгом согласятся с тем, что они должны быть отданы в рабство какому-то другому, особо избранному наро-

ду. Вторая же версия расизма обрекает его на распространение в узких пределах одной расы, с вечным и ничем неразрешимым соперничеством с любой другой расой. Тут возможна лишь борьба всех против всех, причем борьба, не имеющая в перспективе никакой надежды на победу, — разве только в ее процессе все противники будут поголовно истреблены. В этом основная идейная слабость расистских концепций тоталитаризма. И в этом, разумеется, он гораздо провинциальнее коммунизма. Но есть в расизме и стороны, дѣлающие его во многих отношениях сильнее, чем коммунизм. Он апеллирует не только к внешним интересам человека, он апеллирует к самой его природе, к его крови, к глубинным, подспудным инстинктам человеческой души, к каким-то полузабытым зовам природы, он органичнее, как ни странно, я бы сказала, он материалистичнее коммунизма, который, по сравнению с ним, является некой мозговой выдумкой, рационалистичен, сух и не почвенен. Расизм — это мистика биологии, это религия космических сил, некий дух, выпущенный алхимиком из бутылки и не желающий в эту бутылку возвращаться, в расизме все время слышатся гулы и стоны «демонов глухонемых». Древний Пан воскресает, магическая сила крови подчиняет себе обезблаготатствованное человечество. И магия его чрезвычайно сильна, наркотическая сила отравляет и возбуждает. Можно сказать, что как материал для образования языческой религии он гораздо богаче коммунизма. А кроме того, он в противовес коммунизму, открыто признает этот свой религиозный языческий характер, — и этим самым, как религия, он гораздо более осуществлен, чем коммунизм, который и до сих пор не может отделаться от скептицизма эпохи просвещения, хотя этот скептицизм чисто внешний, чисто словесный, ничего не меняющий в его подлинной сути. Таков мистический лик расизма. Как же он осуществляет себя в мире? Тут сходство с его братьями по религии тоталитарности особенно разительно. Кровь, положенная в основу всего, конечно, совершенно не совместима с духовной реальностью личности, — личность упраздняется, — разве

только и дается возможность ей существовать в лице вождя, но на самом деле он не личность в нашем смысле слова, а он некое ипостасное проявление все той же безличной священной германской крови. Личность же упраздняется. Свобода так же упраздняется пред лицом высшей ценности, судьбы, влекущей к господству своих избранников. Так же, как и в коммунизме, тоталитарность мирозерцания уничтожает возможность существования иных взглядов, уклонений, разномыслий. Человек должен мыслить так, как это выгодно для целого, а выгода определяется непогрешимым мнением вождей. Творчество так же отменяется, потому что творчество есть продукт свободы, а когда дело идет о коренных и неотменяемых биологических процессах, то ни свободы, ни творчества не нужно, — они сами за себя постоют. Ведется борьба с иными расами, особенно с объявленным низшей расой еврейством. Это логично с точки зрения расового отбора. Ведется борьба с другими религиями, потому что расизм объявлен единой религиозной истиной, а сосуществование двух истин невозможно.

Если объединить то общее, что есть в проявлениях этих трех видов нового язычества, то все же надо сказать, что им свойственна огромная сила, подлинный пафос, напряжение веры, жертвенная готовность каждого члена их огромного организма отдать себя на благо целого, волшебная потребность не только разрушать, но и строить, некоторая биологическая и органическая напряженность. Все они полнокровны и мускулисты. Все они без предрассудков, без особой склонности к белым перчаткам, все они — вдохновенные мясники, желающие раскромсать вселенную. Все они безблагоданы, и поэтому — пусть в разной степени — магичны.

Говоря о их героях, о их сверхчеловеках, вождях, человекобогах, неожиданно чувствуешь какие-то перепевы Ницшевских мотивов с одной стороны, Смердяковского «все позволено», — с другой, и, наконец, магического культа природной человеческой силы, представителем которого был Рудольф Штейнер. Да, духов давно стара-

лись выпустить из бутылки. Теперь, когда это сделано, их назад не загонишь.

Таков передний план нарисованной мною в начале картины. Дракон с тремя головами наименован. Его облик ясно виден и не возбуждает сомнения.

Но есть на этой картине и еще одно существо, — эта самая певинная царевна, томящаяся под угрозой его взора. Я разумею современную демократию, конечно. И вот тут мне хочется прямо и честно сказать: всякий, кто так или иначе чувствует себя связанным с демократией, всякий, кто ей чем-либо обязан, всякий, кто в какой бы то ни было степени верит в ее будущее возрождение, — просто обязан сейчас без всякого лицемерия, без всякой ложной жалостливости, без всяких оглядок на друзей и врагов, совершенно беспощадно произнести свой суд над нею. Плоха наша царевна, мало чего стоит, сама виновата, что блуждала без пути, пока не попала в лапы дракона, не могла не попасть. И более того, — и не выберется из них, если будет такой, как была, потому что ей нечего противопоставить дракону. Нищета у нее полная.

Мы, русские, имеем в нашей литературе не только предубаждения, касающиеся облика современных человекобожеских религий, — у Достоевского в Великом Инквизиторе или Шигалева, у Соловьева в повести об Антихристе, — но с такой же прозорливой ясностью нам дан и облик современной демократии, особенно сильно и беспощадно у Герцена. Точно она и тогда была такая, какой стала теперь. И не даром Герцен, западник и демократ, в ужасе отвернулся от нее, недаром стал говорить о ней с такой безграничной горечью.

Самое характерное, мне кажется, в современной демократии, это принципиальный отказ от всякого целостного миросозерцания. Давно уже политика стала для нее не возможностью проводить какие-то основные принципы в жизнь, а лишь игрой практических интересов, конкретным учетом сил и выбором компромиссов, давно уже экономика стала существовать самостоятельно от политики, и равенство политическое уживаться с чудовищным эконо-

мическим неравенством. Особенно характерен сейчас для демократии полный разрыв между словом и делом: в слове до сих пор существует несколько напыщенное декларирование начал свободы, равенства и братства, в деле царствует неприкрытая власть интересов. Общественная мораль, так же пышно декларируемая, вполне сочетаема с индивидуальной аморальностью. Частная жизнь человека может находиться в кричащем противоречии с его общественной деятельностью. Миросозерцательная цѣлостность просто не пужна, не существует, — ее опять таки с успехом заменяют правильно понятые и строго учтенные интересы.

Откуда эта страшная рассыпанность демократии, эта раздробленность каждой отдельной личности, этот отказ от всякого объединяющего начала? Демократия стала существом, не помнящим родства, она отреклась от тех начал, которые ее породили, от христианской культуры, от христианской нравственности, от христианского отношения к человеческой личности и к свободе. И на их место не поставила ничего другого. В демократическом миросозерцании нет никакого корня сейчас, нет никакого центра, оно образовано как бы из одних придаточных предложений, главное предложение утрачено. И эта рассыпанность демократического облика создает известный тип человека, у которого, во-первых, нету никаких религиозных взглядов, во-вторых, общественная работа не базируется ни на какой общей глубокой идее, в-третьих, личная жизнь существует сама по себе, не объединенная ни с религиозным ни с общественным призванием. И, как каждый отдельный человек в демократии представляет собою механическое соединение случайных и часто противоположных начал, так и общее тело демократии существует как бы без позвоночника, без станového хребта, и вместе с тем без определенно обозначенных границ. Отсюда легко понять, что, в конце концов, и тут по Смердяковски «все позволено». Правда по другим мотивам, чем в тоталитарных миросозерцаниях; там, — мне закон не писан, потому что я сам закон, я высшая мера вещей, —

тут, — потому что вообще нету незыблемых законов, нету никакой меры вещам, все относительно, все зыбко, условно, все поддается лишь одному критерию текучих и быстро изменяемых интересов. Все позволено, потому что все относительно, и не очень то уж и важно. Сегодня заключается союз, — таковы интересы сегодняшнего дня, сегодня проповедают экономическое равенство, завтра отдают свои голоса укреплению капитализма, сегодня увлекаются коммунистическим тоталитаризмом, завтра — тоталитаризмом расистским.

И все непрочно, все текуче, все не имеет никаких твердых очертаний. Может-быть, даже довольно естественно, что при этом отсутствии каких бы то ни было высших ценностей, оказывается, что высшая ценность — это мое маленькое благополучие, мой маленький и довольно безобидный эгоизм. В конце концов, во имя чего я должен уступать место под солнцем кому бы то ни было и чему бы то ни было, если все претенденты на место под солнцем чрезвычайно относительно и эфемерны? Во имя каких это идей должен я жертвовать своих благополучием, если давным давно признана относительность любой идеи? «Мы, — калужские», — вовсе не принцип коммунизма, который в своей тоталитарности поглощает любую Калугу, — это принцип вырождающейся и больной демократии, — он то сейчас и торжествует во всеевропейском масштабе. Как отдельный человек говорит: «мой счет в банке исправен, в чем же дело?», — так и целые демократические государства не понимают, в чем же дело, раз у них кое-как концы сведены с концами.

Отсюда естественны все грандиозные предательства, свидетелями которых мы были в течение последних лет, отсюда и совершенно старческая физическая беспомощность и расслабленность. В самом деле, — чему уж тут удивляться? Организм распадается на составные клетки, — и естественно, что он ничему противостоять не может.

Самое страшное в современной демократии, — это ее принципиальная беспринципность, отсутствие мужественности, отсутствие всякого творческого начала. Демокра-

тия стала синонимом мещанства, обывательщины, бездарности.

Если в тоталитарных мирозерцаниях уместно говорить о рождении новых религий, то в демократиях надо констатировать не только полное отсутствие религий, но даже отсутствие в данный момент способности к религиозному восприятию действительности. Если там введены в игру темные демонические силы, то тут царствует лишь одна пошлая таблица умножения.

И это положение вещей выливается в невозможность создать какое-либо настоящее увлечение, в отсутствие пафоса, в отсутствие творческого начала. Если тоталитаризмы страшны, то демократия просто скучна. На реальной исторической арене сейчас демоны борются с мещанством. И всего вероятнее, что демоны, а не мещане победят. И победа их может быть двойкой: или мещанин будет ими попросту уничтожен, или они его заразят своими демонскими свойствами, и он станет демоном, так сказать, второго сорта. Решит, что с волками жить, по волчьей выть. Вся беда только, что у волков этот вой настоящий, волчий, а у их подражателей настоящего воя получить не может, одно обезьянничанье, одно попугайство.

Все естественные силы, наличествующие в современном человечестве, таким образом не дают возможности для каких бы то ни было оптимистических выводов. Положение, действительно, скверное, Час борьбы приближается. Результат ее почти предрешен. Не бывало еще, чтобы религиозное начало, любого направления, любой религиозной сущности, не побеждало своего безрелигиозного противника. Не бывало еще, чтобы творчество, во имя чего бы они ни осуществлялось, — не оказывалось сильнее бездарности. Не бывало еще, чтобы герой, пусть самый жестокий, кровожадный и бесчеловечный, не торжествовал над мещанином. Не бывало еще, чтобы склонность к личному самопожертвованию не стирала в прах маленького мещанского эгоизма. Не бывало и не будет, потому что не может быть.

На путях могучего потока новых страшных религий, торжества новых кровожадных идиолов, демократия в том виде, в каком она есть, — не плотина. Она может переучивать свои реальные интересы и перераспределять партийные мандаты в парламентах. Она может подражать вождям и применять их методы работы. Она может не выпускать своих золотых запасов за границу, и строить аэропланы, и выдумывать какие-нибудь удушливые газы, вообще она может делать, что ей угодно, — главное то, что на современных путях ее существования она не победит.

И всего вероятнее, что так оно и будет, что события се обрекают. Духовная выхолощенность дает свои плоды. Безрелигиозное человечество бесславно погибает. Демон, видя, что горница чисто выметена и пуста, приходит, и приводит с собой сильнейших, и вселяется в нее. Ведь, горница действительно пуста. Отчего ему не вселиться?

Учитывая все, взвешивая все, чему нас учит история, что мы знаем уже со времен Герцена, что происходит на наших глазах, кажется, что мы не можем ошибиться в диагнозе. Да, собственно, ни для каких надежд места нет в этом природном мире. В потоке взаимного предательства, в потоке маленьких эгоизмов, рассыплется, развеется, распылится сегодняшний мир. Завтрашний день принадлежит дракону.

И единственная искра надежды, которая остается в сердце, это надежда на некоторое чудо. Бухгалтерия говорит нам, что итоги подведены ею точно, сомнений нет. Ну, а быть может, можно существовать и без бухгалтерии, просто сжечь ее книги, перепутать все приходы и расходы. Поверить, что в смертный час даже грешникам раскрывается небо, самые нераскаивные каются, немые начинают пророчествовать, и слепые видят видения. Только в порядке такого чуда и можно ждать сейчас выхода, только на него и надежда. Человеческому усталому сердцу трудно надеяться, да еще на чудо, на нечто небывалое, неучитываемое. Слишком мы привыкли, что даже самые

реальные надежды обрываются и гаснут, а тут требуется надеяться на нечто почти призрачное.

А все же надежда есть. И есть некоторые намски, что, может-быть, она не напрасна.

Если безбожное, арелигиозное человечество, человечество трех измерений и таблицы умножения, поймет, что так жить ни один настоящий организм не может, если оно, действительно, до самых своих последних глубин, раскается, если оно вернется в Отчий дом, из которого ушло, проклиная Отца, если оно вновь поймет, что перед ним лежит религиозный путь, что оно призвано стать Бого-человечеством, если оно отдаст себя в волю Творца, если оно поймет ничтожество своих маленьких желаний, благополучий и эгоизмов, если оно, наконец скажет грядущим испытаниям, что это бич Божий, как был Атилла бичем Божиим, и что оно само виновато в том, что этот бич нужен, — одним словом, если вновь человечество припадет к своим христианским истокам и обновится ими, и расцветет новым христианским творчеством, и загорится новым христианским огнем, то тогда можно было бы сказать, что даже до самой последней минуты не все потеряно.

Есть тонкие и еле видимые знаки, что надежда, может-быть, не тщетной. Есть, во-первых, слабые признаки религиозного возрождения, которое охватывает, правда, лишь небольшую часть культурной элиты демократий. Есть, наконец, очень громко и мужественно звучащий голос различных церквей, отстаивающих свою истину против лжеистин новых религий. Есть странное и парадоксальное явление, заключающееся в том, что сегодня христианство не подвергается гонению лишь в странах демократических. Есть залог возрождения, — мученическая кровь, испытания исповедников. Как раньше, так и сейчас, — кровь мучеников — семя христианства. Но все это только слабые указания. Гораздо громче звучит обратное: гораздо, например, убедительнее улыбка какого-нибудь политического деятеля, экономиста, историка, — демократа или фашиста, — все равно, — с которой он про-

чет эти или подобные им строки. Для него это некий мистический туман, от которого он с досадой отвернется. И его не смутит, что вне этого тумана вообще никаких решений нету. Вопрос стоит так, — или, через покаяние и очищение безбожное человечество вернется в Отчий дом, и засияет эпоха подлинного христианского возрождения, и оно почувствует себя Богочеловечеством, или же на долгие века мы обречены власти зверя, человекобога, новой и страшной идолопоклоннической религии.

Третье не дано.

Монахиня Мария.

## О сопротивлении при помощи силы

### 1. «НЕ УБИЙ»

«Природа хочет, чтобы сильный боролся против слабого и покорял его...<sup>1)</sup> «Война улучшает расы, уничтожает слабых и укрепляет человеческий характер. Уничтожение всякой войны было бы равносильно гибели этого мира и водворению во вселенной мрачной неподвижности абсолютного Ничтожества»...<sup>2)</sup>

Цитаты эти приведены, что называется, «на выборку»: Их можно было бы умножить сотнями других подобных цитат, в один голос повторяющих, что с точки зрения природной, натуралистической война и насилие являются фактами, не только общераспространенными и нормальными, но даже и положительными; поэтому уничтожения войны могут желать только наивные идеалисты, которые, как говорит один из современных защитников

<sup>1)</sup> Ср. **G. Lavisse et Ch. Andler**, *Pratique et doctrine allemandes de la guerre*, 1915.

<sup>2)</sup> **Mabille**, *La guerre, ses lois, son influence civilisatrice, sa perpétuité*, 1884, p. 287.

войны, «основывают свои суждения на сентиментальных впечатлениях, полученных от вида разрушенных городов и от тяжести человеческих страданий». «Как будто бы наиболее простая из наших обязанностей сводится к тому, чтобы бежать от страданий». «Людям этим совершенно чужда мужественная решимость пожертвовать такой переходящей ценностью, как человеческая жизнь и человеческая собственность, для того, чтобы реализовать величие народа и исповедуемых им идей»...<sup>3)</sup>

Такова мораль насилия и войны, мораль распространенная и древняя. Но вопреки ей и тоже со времен незапамятной старины человек произнес сакраментальные слова: «не убий», «не противься злу насилуем». Слова удивительные, так как в них содержится недвусмысленное отрицание закона природы, который есть закон борьбы, насилия и убийства. Как же мы должны истолковать смысл этих слов, в которых формулированы едва ли не самые основные истины человеческой морали?

В них можно усматривать, прежде всего, биологически понятное, но с различных человеческих точек зрения весьма оспоримое требование перейти из разряда животных плотоядных (или по крайней мере всеядных) в разряд животных травоядных. Вегетарианцы, как известно, утверждают, что в своем первобытнейшем состоянии человек питался плодами растений, а не проливал крови. Животная жизнь не сплошь кровожадна, кровожадны только хищники. По существу своему жизнь только паразитична, т.-е. создана на использовании окружающей среды: растительный мир непосредственно усваивает и использует свойства почвы и воздуха, животный мир использует то, что дает ему мир растительный (кислород и белковые вещества и т. п.). Но это вовсе не закон, чтобы животные пили кровь и ели плоть других животных. В плотоядности и кровожадности можно видеть

<sup>3)</sup> **E. Jünger**, *Le Boqueteau*, 1932; *Ego же, La guerre notre mère*, 1934, traduction française.

скорее какое то искажение твари, какую то «падшесть» ее, чем закон жизни.

Можно признать правильность всех этих рассуждений, и в тоже время протестовать против превращения человека в овцу. Стремясь к такому превращению, мы обрекаем людей на истребление — и не только хищниками, но и животными самыми низшими, бактериями, микробами, разными насекомыми. Излишний ригоризм в вопросе об убийстве основан на странной непоследовательности и на лицемерии. Проповедник вегетарианства очень часто без всякого колебания убивает комара — как будто бы, при широком толковании, это не есть «убийство». Обличитель человеческой плотоядности и жестокости часто бывает любителем кровавых бифштексом и жареных цыплят. Человеку нужно стать менее гипокритичным и открыто признать, что без «убийства» животных жизнь его становится невыносимой и что он имеет право на это убийство. Это есть право его на защиту против существ низших — право, которое может быть обосновано не только биологически, но и религиозно. Религия ставит человека выше других существ, ставит его в особое отношение к существу высочайшему. И уже во имя этого превращение в овцу не соответствует человеческому достоинству.

Заповедь «не убий» можно истолковывать, как порождение чисто естественной солидарности, связующей между собою существа одной и той же зоологической породы, которая принадлежит к тому же к породе животных социальных. О солидарности этой не мало в свое время писали и говорили — и в частности в русской литературе (Северцев, Кесслер, Кропоткин). В ней усматривали источник всей человеческой морали и даже заповеди христианской любви. Забывают только, что чисто животная солидарность действительно является чувством чисто родовым и потому не может притязать на ту всеобщность, с которой выступает требование, и христианской любви, и даже буддийской жалости. Образцы солидарности муравьев одной кучи или ос одного улья

— могут быть совершенно удивительными, однако это есть моральный инстинкт, никогда не выходящий за пределы одного животного общества. Животные и насекомые бывают предельно жертвенны ко всему своему и в тоже время предельно эгоистичны и жестоки по отношению ко всему чужому. Черту эту мы наблюдаем и у человека, но она никак не соответствует вершинам его морального сознания. Самое ужасное в современных тоталитарных режимах и в их зверином национализме и расизме — это их бессознательное подражание морали ос и муравьев. В современных человеческих муравейниках проглядывает какой то звериный облик, — и потому то война и убийство становятся в них законом жизни. Невольно встает вопрос, не присутствуем ли мы здесь при рождении каких то глубоких атавизмов, бессознательно господствующих над человеческой душой и влекущих человека, под маской высоких социальных идеалов, к возвращению к чисто звериной жизни.

Животная мораль не поднимается и не может подниматься до требования универсального милосердия, которое родилось впервые в душе человека. И, чтобы ни говорили, в этом требовании содержится нечто, что свидетельствует о человеке, как существе, поднявшемся (другой вопрос, какими силами) над физической природой и над законами физической жизни. Человек есть не только существо разумное и существо, делающее орудия, как это говорят известные определения — человек есть еще и существо метафизическое.<sup>4)</sup> Человек перерос витальную сторону своего существования, что приводит его к конфликту с самим собою и делает его существование крайне антиномичным. Норма «не убий» есть одна из лучших иллюстраций и это метафизичности, и этой антиномичности человека. Она может быть обоснована только религиозно или метафизически: как повеление Божие или как результат размышления о сверхприродной, духовной

<sup>4)</sup> Подробнее тезис о «метафизической» природе человека развивается в подготовленной мною к печати книге «Мир и человек».

сущности человека. Кто отвергает и то и другое, тот подтачивает самые корни этой заповеди и разрушает ее значимость. Это в особенности остро и проникновенно чувствовал Достоевский, сделавший из нее основную тезу некоторых известных своих произведений. Ему в особенности было свойственно вполне оправдавшееся предчувствие, что секуляризованный, чисто позитивистический гуманизм очень легко может стать жестоким, кончить оправданием человекоубийства и широкой его практикой — в прекрасных целях будущего человеческого благополучия и счастья.

## 2. ДВА УРОВНЯ МОРАЛИ

Что человек не остался глух и нем по отношению к заповедям, запрещающим насилие и убийство — в этом убеждают условия жизни так называемых цивилизованных человеческих обществ. Каждому из нас вовсе уже не так часто приходится сталкиваться с насилием и убийством, если взять наши чисто личные отношения с людьми. Большинство окружающих нас людей — не убийцы и не часто подвергались опасности быть убитыми, за исключением, конечно, случаев подобного рода во время войн и революций, но об этом последнем будет речь особо. Личные отношения, доходящие до применения физической силы, или случаи обороны путем силы — тоже не часты. Нападения грабителей и разбойников, дуэли и просто драки не входят в жизнь цивилизованного человека, как факты обычные и повседневные. Порывшись в памяти, каждый из нас должен возвратиться разве только ко временам своего ребячества, когда отношения, основанные на силе, своеобразное кулачное право, играет роль большую, чем у взрослых — да и это относится только к мужской части человеческого рода. Одним словом, нашу личную жизнь мы построили по законам, исключаящим насилие и убийство, что имеет свои корни не только в морали, но и в социальных установлениях, в праве, запрещающем насилие, в государстве, карающем за него.

Картина эта резко меняется, как только мы перейдем к отношениям человеческих коллективов к отдельному человеку или, еще лучше, к другим человеческим коллективам. Совсем не по правилам личной морали относится одна человеческая раса к другой, один класс к другому, одно государство к своему соседу. Тот, кто пережил русскую революцию, отлично знает, что в классовой борьбе законом является не милосердие, а ненависть и что насилия и убийства являются рекомендованными и одобряемыми методами этой области социальных отношений. Люди, вполне цивилизованные, именующие себя «гуманистами» (правда в особом смысле этого слова) сочинили здесь теории, вполне научнообразные и спокойно рекомендуемые проявлять к классовому врагу максимум беспощадности, даже, по возможности, его истреблять, как вредное насекомое. Всем известно, что в других цивилизованных странах, преодолевших у себя социальную революцию, была изобретена теория, которая на место классового врага поставила врага «расового» — и по началам этой теории люди начали не только насиловать, но и прямо истреблять врага расового. Это назвали «национальной революцией», пришедшей на смену революции социальной. Не стоит уже говорить, что закон насилия и убийства всецело царствует в отношениях интернациональных и междугосударственных. Здесь большие рыбы действительно пожирают малых — и это считается довольно нормальным. Все попытки заменить здесь закон насилия и войны законом, если не любви и милосердия, то по крайней мере упорядоченной системой, отрицающей прямое самоуправство, пока что не привели ни к каким результатам.

Как объяснить то странное явление, что коллективный и массовый человек живет на ином, низшем уровне морали, чем человек индивидуальный? При ответе на этот вопрос нужно принять прежде всего во внимание выводы современной коллективной и массовой психологии, которая учит, что массовый человек приобретает некоторые черты человека первобытного, он дичает, в нем пробуж-



даются первобытные инстинкты и атавизмы. К заключениям этим уже сравнительно давно пришел Ле Бон и ныне они подтверждены всецело Фрейдом.<sup>5)</sup> Нужно учесть также особую роль «идеологий», владеющих массами. «Идеологии» эти чрезвычайно усложняют простые, чисто личные отношения между людьми. Под влиянием «идеологий» вместо живых людей начинают выступать некоторые социальные «категории» — «белый», «красный», «коммунист», «германец» и т. п. За безличными социальными масками и категориями, за установленными общественными номинациями и названиями теряется непосредственное ощущение живой человеческой личности. Несказанный ужас классовой борьбы или войны в том, что отдельного человека здесь уже не видно. Человек здесь лично по большей части не знает своего врага и менее всего считается с его личными качествами, не питает к нему личных чувств. Человек здесь имеет дело с «категорией». «Личности капиталиста и крупного земельного собственника», говорит Маркс в предисловии к первому тому своего «Капитала», изображены мною далеко не в розовом свете; но я говорю об отдельных лицах только постольку, поскольку они являются олицетворением некоторых экономических категорий и представляют известные классовые отношения и интересы». Вот этот прием играет выдающуюся роль в тех оценках, которые руководят массами в их социальной и классовой борьбе. «Буржуй» стал по существу отрицательной категорией и воплощением зла. Пролетарий — некоторым сусальным типом воплощенного совершенства. Люди творят коллективное насилие, не мало не соображаясь с личными качествами своих «классовых врагов», а имея ввиду только «категорию».

Нечто подобное наблюдаем мы и в массовых отношениях в сфере международной и междугосударственной. Ходячий национализм изображает обычно чужой народ, в особенности враждебный, как носителя всех отри-

<sup>5)</sup> S. Freud, Massenpsychologie und Ichanalyse.

цательных качеств, тогда как свое государство становится олицетворением всего хорошего и доброго. Существует особый психологический комплекс «нации-злодея» и «нации-добродетельницы» — комплекс, сыгравший огромную роль, например, в эпоху великой войны. Та особая чисто человеконенавистническая литература, которая появилась в течение этой войны, в особенности в Германии (но и в других странах тоже) заслуживает особого изучения с точки зрения коллективной психологии и психопатологии. Она свидетельствует о некоторой настоящей «одержимости» отдельных наций навязчивыми идеями, ослепившими душу культурного человека и наполнившими мир ненавистью и злобой. Один новейший американский автор, Джон Фостер Деллес, справедливо видит в названных явлениях какое-то «навождение» человеческих душ особыми «фантасмами», фиктивными идеями, призраками.<sup>6)</sup> Нормальные человеческие черты исчезают за этими масками, под покровом которых человек начинает особо драматизировать события, преувеличивать конфликты и доводить себя до высшей степени раздражения.

В подобной атмосфере и проходят войны и революции. Это опять таки с особым проникновением чувствовал Достоевский, изображавший революционную психологию, как патологию коллективной одержимости, своеобразного бесовского демонизма. Отдаваясь ему, человеческая душа теряет самые элементарные черты обыденной морали и становится готовой ко всякому преступлению. Родится особый уровень «коллективной морали», которая с точки зрения человеческих отношений оправдывает все то, что с точки зрения личных отношений, клеймится, как преступление.

### 3. О ПАССИВНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ

Отдельный человек бессилен перед массой и тем более массой организованной. Он может бороться с массой,

<sup>6)</sup> J. F. Dulles, War, Peace and Change, 1938.

противопоставив ей другую массовую организацию. Но как бороться? Если это — борьба насилем, то мы приходим к идее войны в ее широком понимании — к войне международной или войне гражданской. Значит ли это, что пока отношения между человеческими массами основаны на морали низшей, на морали в значительной степени звериной, — для масс нет другого исхода, как драться и воевать? Или же возможна невооруженная массовая борьба, которая имеет свою особую тактику, свою стратегию, свои методы?

Главное отличие современного апостола индуизма, Ганди, от его признанного учителя, Толстого (значение которого сам Ганди всегда подчеркивал)<sup>7)</sup> — в том, что гандизм сделал непротивленчество активным, превратил его в некоторое массовое действие. Из непротивления родилось таким образом массовое сопротивление, упорное, действенное, однако, не прибегающее к физическому насилию, не похожее поэтому на классовую борьбу или на международную войну. Ганди удалось это сделать в силу того, что им были использованы и мобилизованы две силы, играющие огромную роль в современном мире: это — национализм и известные «классовые», вернее, кастовые эмоции и чувства. Гандизм есть организация низшей индусской касты, париев, стремящаяся, с одной стороны, разрушить кастовые перегородки и добиться общечеловеческого равенства, с другой стороны, преследующая индусские национальные цели в борьбе с английским владычеством в Индии. Последователи Ганди не прибегают ни к оружию, ни к бомбам, ни к другим методам обычной революционной борьбы. Индусской «*swa deshī*» (*swa* — сам по себе, *deshī* — то, что сделано в самой стране) борется с английским влиянием и господством, отгораживаясь от всего английского, бойкотируя англичан везде, где можно, противясь всякому сотрудничеству с ними. Гандизм борется за национальные права индусов и

<sup>7)</sup> Об отношении Толстого к Ганди, см. книгу **M. Markovitch**, *Tolstoi et Gandhi*, 1928.

личные права париев, не разжигая ненависти, не стремясь к захвату власти, к диктатуре низших общественных слоев, не призывая к вооруженному восстанию, не строя баррикад, не проклиная привеллигированных и властвующих, не зовя угнетенных к истреблению угнетателей. Гандизм есть в этом отношении — полная противоположность большевизму. Ганди и Ленин — это два типа совершенно различных по стилю своему революционеров.<sup>8)</sup> И от Толстого Ганди отличает поражающая терпимость к своим социальным врагам и противникам, о которых наш великий писатель судил не всегда слишком мягко.

Не правильно было бы преуменьшать значение этой тактики пассивного сопротивления, так как результаты, добытые ею в Индии — неоспоримы. Общеприменимость этой тактики в определенных конкретных условиях иллюстрируется положением вещей, создавшемся в покоренной немцами Чехо-Словакии. По какой то иронии судьбы чешскому народу, который по общему своему умонастроению является народом, наименее подверженным влияниям Востока и весьма европеизированным, суждено было испробовать эту тактику в борьбе с германским завоевателем, — поступить буквально по заветам Толстого и Ганди: сложить оружие, добровольно покориться агрессору и начать применять по отношению к немцам чисто индусские приемы.<sup>9)</sup> Мы не знаем, какие еще будут результаты этого опыта, которые не могут не приветствовать все непротивленцы, но другой вопрос, можно ли эту тактику обобщить и принять как норму, значимую для всех других европейских наций.

Что тактика пассивного сопротивления даже тогда, когда она проводится чисто стихийно и не организовано, может быть весьма актуальным средством массовой борьбы с насилем, — в этом могут убедить нас и некоторые

<sup>8)</sup> **R. Fülöp-Miller**, *Lenin and Gandhi*.

<sup>9)</sup> Толстой рекомендовал эту тактику во время аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Ср. «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии», 2-ое издание, Берлин, Штейниц, 1909.

другие примеры. Различные отступления от коммунистического опыта, которые принуждены были сделать большевики, разве не объясняются очень часто стихийным массовым сопротивлением населения? И разве не разбиваются слишком энергичные военные планы современных диктаторов о пассивное сопротивление народных масс, которые не хотят войны нигде — ни в странах демократических, ни в странах диктаториальных.

Черпая опыт из массовой жизни современных народов, а не только из чисто личных отношений, мы можем сказать, что те возражения, которые Владимир Соловьев противопоставил в своей известной полемике Толстому, правильны только очень относительно. Нельзя тактику непротивления (или, вернее, пассивного сопротивления) доводить до абсурда при помощи примеров, взятых из чисто личных отношений между людьми. Когда перед нами злодей, заносающий нож на младенца (пример, которым пользуется Соловьев, чтобы опровергнуть Толстого), нам остается только одно: обезоружить и связать злодея. Начать уговаривать его было бы безумным. Но когда мы стоим лицом к лицу с многоголовым зверем, спрашивается, как можно его связать и обезоружить? С одержимым страстью и вооруженным коллективом, не может совладать не только отдельный человек, но даже другой коллектив, если он немногочислен и не вооружен. Бывают случаи в жизни, когда человек обречен на пассивное подчинение по чистой необходимости. Психология непротивления дает в таких случаях духовную силу и крепость отдельной человеческой душе. Бирюков рассказывает, что в своей молодости в Казани, Толстой беседовал с буддийским ламой, который лежал на излечении в больнице. При путешествии через Сибирь лама подвергся нападению разбойников и на вопрос Толстого: «что же вы сделали, когда на Вас напали», ответил: «сложил руки на грудь и молился за разбойников». Вот пример истинно христианского поведения — замечает по этому поводу Толстой. Было бы большей близорукостью не видеть в таком образе действий некоторого подлинного духовно-

го величия. Но вправе ли человек абсолютизировать такую тактику и утверждать, что она всегда и везде применима? Ошибка Толстого в том, что он не видел множественности путей, которые открываются перед человеком — множественности путей добра, вытекающих из невероятной сложности ситуаций, в которых человеку приходится действовать. Непротивление или пассивное сопротивление есть только один из этих путей, а вовсе не единственный путь, доступный человеку во всех без исключения случаях его жизни.

#### 4. О ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВЕ

Тактика пассивного сопротивления Ганди организует положительные эмоции людей — коллективные силы любви, а не ненависти, как это делает большевизм — в целях борьбы за определенные национальные и социальные интересы. Организация этих коллективных эмоций есть таким образом средство, а не самоцель. Когда вышеупомянутые интересы получают удовлетворение, организация положительных эмоций теряет почву и должна исчезнуть. В гандизме нет стремления создать такой постоянный духовно-социальный организм, который бы организацию любви и милосердия ставил своей основной и постоянной задачей. Таким учреждением является церковь, к которой отрицательно относился Толстой и отрицательно относится Ганди. Оба они — противники церкви, как института, оба они не ощущают той огромной организационной роли, которую может играть церковь в борьбе с насилием не только индивидуальным, но и коллективным.

По своему не теологическому, но только социологическому смыслу церковь есть общество, в которое люди входят по их мере в сверхприродное назначение человека, превосходящее все земное, даже самые высокие ценности, как нацию, отечество, расу, родовитость, богатство, земную честь и славу. Церковь в этом смысле — сверхприродна и сверхнациональна. Связующей силой

церковного общения является любовь к Богу и к своему ближнему. Церковь является объединением того, что в человеке принадлежит Богу и что превосходит все мирские задачи и цели. Церковь не есть сообщество, построенное на вере в какую-нибудь идеологию, так как она веру в Бога ставит выше веры в идеи и сознает всю относительность человеческих идеологий, которые люди превращают в нечто абсолютное. Церковь хочет возвысить человека не его земною гордостью, будь то гордость познания, но человеческим устремлением к Тому, кто не от мира сего. Нигде, ни в каком другом обществе, не может быть столь прочно обосновано человеческое стремление к милосердию, заповедь человеческой любви, норма «не убий», закон, запрещающий насилие, как в церкви. Ни Толстой, ни Ганди не видят этого великого значения церкви в деле массовой организации положительных человеческих эмоций и чувств, в борьбе со злобой, ненавистью, завистью и себялюбием. Оба они, когда говорят о церкви, имеют в виду только исторически сложившиеся церковные установления, которые заслоняют для них самую церковную идею. Исторические церкви совершали не мало грехов и часто одобряли насилие, даже сами его творили. Это объясняется главным образом их союзом с государством, от которого к счастью сейчас церкви освобождаются и многие уже освободились. По идее своей церковь не есть принудительная организация и не может прибегать к принуждению и насилию. Церковный авторитет покоится на духовном признании и резко отличается от принудительного авторитета государства.

Толстой и Ганди в их отвержении церкви забывают, что помимо исторических церковных организаций, в той или иной степени связанных с государством и перенимавших от государства методы принуждения, существовала церковь первоначальная, апостольская, которую и нужно брать за образец, за выражение истинной церковной идеи. Церковная реформа, потребность в которой ныне ощущается многими христианами, должна вдохновляться не стремлением создать что-то новое, но должна быть возвра-

щением к некоторому первообразу, действительно искаженному историей. И только через посредство подобным образом обновленной или, вернее, возвратившейся к своим древнейшим традициям церкви, возможна мобилизация тех положительных, добрых эмоций в массовом человеке, которые сейчас спят в душах именно потому, что бодрствуют эмоции им противоположные.<sup>10)</sup>

Вторым недостатком воззрений Толстого и Ганди является их отрицание государства, их анархизм. Государство, в противоположность церкви, есть организация чисто земная, мирская, имеющая дело с физическим, натуральным существом человека. Без государства человек не может жить, так как в человеческой природе живет зверь и таятся загнанные вглубь души хаотические, разрушительные силы. Государство — это земля, биология народного организма, материальные блага, необходимые для жизни, хозяйство, производство, внешняя и внутренняя физическая безопасность. Государство регулирует хаотические силы, таящиеся в физической жизни масс, в игре витальных сил, в столкновении интересов, в борьбе личных и групповых эгоизмов. Глубоко наивна вера в то, что когда индусы — а в это и верит Ганди, — освободятся от английского владычества, они заживут спокойной и мирной жизнью анархического рая. Есть опасность, что без принудительной власти, охраняющей внешний, чисто нейтральный порядок, они перережут друг друга, изнемогут от внутренней войны. Те, кто пережили раз революцию, должны были бы понять, к чему ведет разрушение старого государственного аппарата тогда, когда еще новый не создан: на место организованного государственного принуждения ставится закон самозащиты и самоуправления, каждый становится судьей в своем собственном деле и должен защищать сам себя и своих близких собственной силой. Это понял в эпоху английской революции английский философ Гоббс, изобразив безгосударственное,

<sup>10)</sup> Огромную подготовительную работу в этом направлении ведет экуменическое движение. Ср. «The Churches survey their task», London, 1937.

«естественное» состояние, как «борьбу всех против всех». В мыслях Гоббса есть некоторая вечная правда, принуждающая нас оправдать государство, как организм централизованного принуждения, которое лучше, чем кулачное право, возникающее из частной самозащиты каждого своей собственной силой, собственным мечем или собственной винтовкой.

Государство борется с насилием прежде всего путем угрозы силой. Всякий, кто хочет в огосударвленном обществе разрешить конфликт применением собственной силы или самоуправством, становится под угрозу конфликта с государством. Несправедливо и пристрастно думать, что государство, только и делает, что насильничает и убивает — напротив, государство есть та нейтральная сила, которая ограждает от насилия — ограждает, может быть, не всегда по началам безупречной справедливости и равенства, но все же ограждает. Непонимание этих нейтральных функций государственной власти свойственно грубо классовой теории государства, которая, повидимому, изжила себя даже в советской России. Государство начинает убивать в процессе войны и революции. Нормальное государство может совсем обойтись без убийства, так как смертная казнь не есть неоспоримый и неотделимый от государственной практики институт.

Но государство не только аппарат, созданный для угрозы насилием и регулирующий материально-биологическую сторону человеческой жизни. В земную жизнь человека входят и моральные ценности, определяющие человеческое поведение в обществе. Человек не есть существо, живущее в своей социальной жизни только на основании бессознательных инстинктов, как муравьи и пчелы, человек живет в обществе, руководствуясь теми принципами, идеями, нормами и целями, которые в совокупности своей образуют это с данного народа, его коллективное сознание, объективное царство его национального духа. И от того, каков этот дух, зависит самая сущность государства. Он может быть духом убийства и насилия, но может быть духом симпатии,

солидарности и милосердия. Государство есть мощное орудие для организации известной коллективной психологии, для развития тех или иных задатков массового человека. Государство не должно только отождествлять себя с церковью и считать себя союзом совершенным. Государство всегда имеет дело с некоторым минимумом нравственности, который оно вводит в свою правовую систему, защищает и охраняет. И важно, чтобы государство не смотрело на себя, как на школу малолетних или еще хуже, как на исправительное заведение. Государство должно уважать личность в человеке и свободу его внутреннего самоопределения. Угрожая принуждением, оно должно в то же время воспитывать граждан в свободе. Только при помощи организованного государственного аппарата возможно провести широкую программу воспитания масс в духе свободы, права, солидарности и взаимной симпатии. К сожалению, до сих пор демократические государства менее всего ставили перед собою проблему социальной педагогики, воспитание же масс в тоталитарных режимах велось как раз в духе противоположном, в духе классовой или расовой вражды, ненависти и зависти.

Для борьбы с этим отрицательным этосом недостаточно пассивного сопротивления. Для этой борьбы необходима мобилизация мирных и благожелательных массовых эмоций, нужна продуманная система социального воспитания, — задачи, которые может организовать только союзы, построенные на авторитете и власти, другими словами, церковь и государство.

## 5. О СОПРОТИВЛЕНИИ ПРИ ПОМОЩИ СИЛЫ

Пока названный организационный и воспитательный план не выполнен, мир должен жить, по необходимости, в атмосфере войны и насилия. Обязаны ли мы при всех условиях поступать в этом мире так, как рекомендуют Толстой и Ганди, или же вправе, в известной ситуации, силе противопоставить силу?

Умение пользоваться силой отнюдь не предполагает открытого столкновения и кровопролития. Нужно понять, чего не понимают «непротивленцы»: чтобы избежать кровопролития, нужно в известных условиях уметь показывать силу. Правило это отнюдь не является нормой абсолютной, значимой во всякой ситуации и при всех жизненных условиях, но оно становится неизбежным в некоторых жизненных случаях и в той социальной атмосфере, в которой насилие становится правилом и постоянной угрозой.

Современная тактика сопротивления силе должна идти двумя путями — путем внутренне-государственным и путем международным. Что касается первого, то тем режимам, в основе которых лежит еще право и свобода, нужно кардинально изменить свою тактику по отношению ко всем домашним кандидатам в диктаторы и ко всем активным «тоталитаристам». Главный грех современных демократий состоит в том, что они показали полную неспособность себя защищать и без боя сдались своим противникам. Многие демократы думают, что такая незащищенность лежит в самом существе демократии: демократия, говорят они — всегда релятивистична, она всегда допускает критику противников, всегда является компромиссом противоположных мнений, — и, если в демократии существуют люди, стремящиеся к ее отмене и к введению тоталитарного режима, то искренний демократ должен считаться и с этим мнением и не посягать на свободу его выражения и его реализации. Иначе — демократия изменит самой себе и пойдет по пути фашизма.

Мы стоим здесь перед чрезвычайно антиномичной и парадоксальной проблемой, вытекающей из самой идеи свободы. Если мы посягнем на свободу тех, которые стремятся к гибели демократии, то тем самым мы вступим в конфликт с их свободой; но если мы предоставим их свободе развиваться в сторону отмены свободы вообще, то тем самым мы вступим в конфликт с свободой всех людей вообще. Так именно Временное Правительство не хотело посягать на «свободу» Ленина, что привело к отмене

свободы вообще. Так республиканская Германия допустила свободное развитие национал-социализма, вождь которого открыто заявлял, что он уничтожит демократию, пользуясь ее же собственными методами. Ситуация, о которой идет сейчас речь, очень напоминает любую игру с партнерами, которые в игру допущены, но правил игры не соблюдают и стремятся откровенно добиться отмены этих правил. Можно ли в таких условиях играть в крикет, в шахматы, в лапту, во что угодно?... Более или менее ясно, что игра в этих условиях бессмысленна, однако же демократические сторонники свободы ее продолжают вести. Пользуясь правилами свободы, они принимают в игру людей, которые не только этих правил не признают, но и игру ведут в целях отмены этих правил. Уважение к свободе превращается здесь в некое особое «непротивленчество», которое менее обосновано и более пассивно, чем учения Толстого и Ганди. Эти последние укоренены в особом религиозном мирозерцании и, как мы видели, могут принять форму особой тактики сопротивления, не пользующейся принудительными средствами. Демократы-непротивленцы очень часто не принадлежат к числу людей религиозных, их «непротивленство» имеет характер некоторого попустительства, которое тем более непоследовательно, что сами попустители по большей части не являются принципиальными противниками насилия и готовы применять его в других областях общественной жизни.

Современная демократия должна укрепить веру в абсолютную ценность тех принципов, которые она защищает, должна освободиться от своего релятивизма и своего непротивленства. Она должна научиться защищать свое дело, должна стать демократией авторитарной. Существует принципиальное отличие авторитарной демократии от тоталитарных государств — различие, которое, к сожалению, многие не понимают. В тоталитарном режиме государство берет у человека все и принципиально отрицает его свободу. Авторитарная демократия, напротив, по известному выражению Руссо, хочет принудить людей быть сво-

бодными.<sup>11)</sup> Принуждать же к свободе это значит, прежде всего, бороться с теми, которые стремятся к ее уничтожению; это значит, далее, ставить человека в такие условия общественной жизни, при которых он принужден бы был пользоваться своей автономией и существовать вне государственной опеки; это значит, наконец, организовать такую систему социального воспитания, которое развивало бы в человеке способность к свободной мотивации поведения, а не только к принудительному исполнению извне навязанных ему обязанностей.

Иначе обстоит дело в вопросе о применении силы в области международной. Здесь скорее нужно призывать к демобилизации накопленных социальных энергий, чем к их мобилизации; уже слишком здесь напряжены силы, слишком часто примыкается насилие. Народы и государства должны понять, что при условиях современной тоталитарной войны применение насилия может быть губительным, и для нападающего, и для защищающегося, что результатом войны может быть всеобщая гибель культуры. Международная жизнь никогда еще не пуждалась в замене самоуправства каким то организованным порядком так, как она нуждается в наши дни. И тем не менее война остается и ныне последним средством, к которому нельзя не прибегать, когда все остальные средства исчерпаны.

Войной называется совокупность актов нападения и защиты — тех актов, которые имеют совершенно различный ценностный смысл. Первый из них, нападение, не может быть никак оправдан в современных условиях войны тоталитарной. Ныне не может быть никакого справедливого нападения, справедливой может быть только защита против агрессора, предпринятая тогда, когда все остальные средства для улаживания конфликта исчерпа-

---

<sup>11)</sup> Сам Руссо склонялся также к государственному тоталитаризму, что видно из его требования, чтобы человек в «общественном договоре» отказался от всех своих прав в пользу политического целого.

ны.<sup>12)</sup> Обороняющаяся сторона должна проявить всю меру долготерпения и всю возможную уступчивость. В этом последнем открывается положительный смысл Мюнхенской политики, которая многих раздражала. Мюнхен обнаружил предельную добрую волю неагрессивных держав идти на уступки, даже путем жертв и не считаясь с самолюбием. И когда эти жертвы оказались бессмысленными, стала ясной неизбежность последнего крайнего решения — идти на вооруженный конфликт.

Все аргументы «за» и «против» этого последнего решения имеют дело в конце концов с столкновением двух последних моральных ценностей: ценности отдельной человеческой жизни, с одной стороны, и ценности таких принципов, как «свобода», «духовность», «достойное человеческое существование», с другой. Должен ли человек пожертвовать своей жизнью во имя этих идей, или жизнь человека настолько ценнее, что следует пожертвовать этими идеями во имя ее сохранения? Тот, кто рекомендует первое решение есть принципиальный «противленец», сторонники второго — «непротивленцы» абсолютные. Теоретический спор между ними едва ли возможен и плодотворен, как всякий спор о последних путях человеческой жизни. Однако, можно привести некоторые соображения, показывающие, что абсолютное непротивленство не достигает тех целей, которые оно ставит и потому обнаруживает некоторое внутреннее противоречие.

На первый взгляд кажется, что, если действительно, в случае нападения внешнего завоевателя, подвергнувшаяся нападению сторона не будет обороняться и сложит оружие, то тем самым будет избегнуто кровопролитие, будут сохранены человеческие жизни, а агрессор попадет в неловкое моральное положение: ибо вести войну против несопротивляющегося врага — это значит произвести удар

---

<sup>12)</sup> Термин «справедливая война» (*bellum justum*), популярный в средние века, двусмысленен потому, что допускает не только справедливую «оборону», но и справедливое «нападение».

впустую и быть в известном смысле обезоруженным. Сила этих соображений, однако, только кажущаяся, и они теряют убедительность при более внимательном рассмотрении. На самом деле отказ от сопротивления агрессору мог бы не повести к сопротивлению только в полной политической пустоте. Действительный, реальный агрессор есть живой человек, вернее, живая масса людей, которой владеют политические инстинкты и страсти. Совершая нападение на «вражеское» государство или на «вражеский» народ, агрессор всегда горит политической враждой, по отношению к своей жертве. Поэтому необходимыми атрибутами занятия чужой территории являются расправы с политическими противниками, аресты, концентрационные лагеря и даже убийства. Поэтому агрессия, вполне бескровная и не предполагающая человеческих жертв, существует только в фантазии непротивленцев. Реальная агрессия необходимо сопровождается жертвами и отнюдь не щадит человеческие жизни. Только эта жестокая сторона дела тщательно скрывается и замалчивается, что и создает внешнее впечатление спокойствия и благополучия, которые видимо отсутствуют в войне.

Можно сказать, что при отсутствии сопротивления жертв будет менее, чем при обороне. Но имеет ли в данных вопросах принципиальное значение количественная сторона дела? И может ли организованное общество, в лице государства, — общество, взявшее на себя известную, хотя бы молчаливую гарантию охраны жизни и свободы граждан, — отказаться от сопротивления и тем предать своих подданных? Государство не может не защищаться уже потому, что, будучи организацией, борющейся с самоуправством, оно встречается, в лице агрессора, с той самоуправной силой, борьба с которой, как мы видели, является одной из главных задач государства. Акт сопротивления лежит таким образом в природе государства и, не применяя его, государство изменяет самому себе, противоречит собственной природе. Освободить себя от необходимости сопротивляться государство могли бы только в случае *vis major*, в случае действитель-

ной невозможности вести какую-либо борьбу. В таком случае остается последний исход, о котором мы уже говорили — тактика пассивного сопротивления.<sup>13)</sup>

Н. Н. Алексеев.

## Урок истории

Если задаться вопросом, каков исторический смысл победы, одержанной Германией в мировой войне двадцать лет спустя по ее формальному завершении, т.-е. какой свет эта победа проливает на ход европейской истории в новейшее время, в эпоху перманентной в сущности революции, борьбы за осуществление всего, что связано с «бессмертными принципами 1789 года», то ответ, думается, должен быть таков: победа Германии — новой Германии, переродившейся после Войны, — была в известном отношении реализацией идеалов, выдвинутых демократиями, и которых сами демократии не осуществили. Идеи личной свободы и личного равенства дали начало идее самоопределения народов. Каждый народ имеет право осуществить свое единство, имеет право на свою землю, свою государственную власть, и т. д. Но что такое народ? Когда державы-победительницы «устраивали» Европу и организовывали Лигу народов, оне обошли этот вопрос, или, вернее, при определении, что такое народ или нация, руководствовались в различных случаях различными критериями — в зависимости от «реально-политических (что, впрочем, разумеется, замалчи-

<sup>13)</sup> Хотя статья эта и не стоит на строго конфессиональной почве, однако по интенциям своим она хочет показать, как нужно смотреть на войну с точки зрения православной. В этом смысле статью эту можно считать ответом на ту протестантскую теорию войны, которая популярна в некоторых (правда, не всех) германских кругах. Ср. статью Prof. Althaus'a и в сборнике «Kirche, Volk und Staat», Berlin, 1937.



валось) соображений. Население каждой из республик Латинской Америки признавалось отдельной нацией; немцам же было запрещено считаться таковою, и австрийским немцам не дозволялось соединиться со всеми остальными под тем предлогом, что это противоречило бы принципу самоопределения народов, и было бы нарушением «независимости Австрии», блюсти которую обязались победители. Правда, была сделана поправка: было признано существование национальных меньшинств; известно, однако, что на деле права этих меньшинств соблюдались как раз только в той самой несчастной Чехословакии, которой пришлось первой расплатиться за все грехи лжи, лицемерия, игры словами, извращения принципов Вильсона, которые лежат на совести победителей в великой войне. Насколько вообще национальный вопрос, как он понимался и понимается до сих пор, возможно разрешить, Германия его разрешила — для себя. Теперь она выдвигает новый подобный вопрос — украинский. Что она это делает в своих, а не в украинских интересах, — чего она и не скрывает, — это, в настоящей связи, не имеет значения. С точки зрения философии европейской истории, и в этом отношении Германия дает урок европейским демократиям. Украинский вопрос не выдумка каких-нибудь интриганов, авантюристов, или беспочвенных романтиков: он — есть. Ибо если нацией считать коллектив, признаками единства которого служат язык, литература и газеты на этом языке, училища, где преподают на этом языке, то украинская нация сейчас — несомненный факт. Можно убеждать украинцев, входящих в состав бывшей Российской Империи, что отделяться от СССР (или, что то же, России) для них невыгодно, что независимая Украина, в нынешних условиях, неизбежно станет немецкой колонией, но отрицать за русскими, польскими, чешскими украинцами право на самоопределение нельзя никак. Для этого нет оснований. То, что Украина была так долго частью России, что, при всем антагонизме между «хохлами» и «москалями», столько людей украинского происхождения были русскими писателями, профессорами, учителями,

чиновниками, командующими войсками, полицеймейстерами, жандармами и т. д., и т. д., сейчас ровно ничего не значит. Если идти в этом направлении, можно забрести Бог знает куда. Если ссылаться на исторические права, то придется согласиться на том, чтобы отдать Италии всю Францию, Англию, Испанию, Балканский полуостров, и столько еще земель: ведь, когда-то все это бесспорно принадлежало Риму. Довольно того, что такой-то и такой-то народ желает «самоопределиваться». С точки зрения «бессмертных принципов», он в таком случае имеет на это право. Надо быть последовательным. Если бы случилось, что все бретонцы — или большинство их — заразились бретонским регионализмом и дошли до сепаратизма, то они имели бы такое же право отделиться от Франции, каким в свое время воспользовались савойцы, добровольно отделившиеся от Пьемонта и присоединившиеся к Франции. В этих и подобных случаях оспаривать такое право ссылкой на то, что такой-то и такой-то народ никогда не жил собственной исторической жизнью, что его язык в сущности не язык, а всего только «диалект», — просто нелепость. Всякий «диалект» в любой момент может возвыситься в чин «языка», и «историческая жизнь» в любой момент может начаться.

Вопрос не в этом, а в том, как тот или другой народ сможет осуществить свое право. «Самоопределиваться» значит, прежде всего, замкнуться в собственных границах, обзавестись собственными министрами, посланниками, почтовыми марками, денежными знаками и прочими подобными вещами, свидетельствующими о народном суверенитете. Вот тут-то и возникают затруднения. Возьму в пример украинский вопрос. Что такое Украина? Где ее границы? Новороссия, например, — тоже Украина? Язык, на котором говорит здесь простонародье, — какая-то смесь малорусского с великорусским, и скорее похож на последний, чем на первый. Население — смесь малороссов, великороссов, выходцев из Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, армян, евреев, немцев. Это, допустим, предельный случай. Но в сущности, нигде нет чистых народов, как

нет чистых рас. И в особенности это имеет силу для всех земель, бывших в течение столетий спорными.

Вот в этом-то и состоит смысл урока, преподанного Германией демократиям. Стоя на точке зрения права народов на самоопределение, как оно понималось и понимается со времени Великой Революции, приходится признать за любым коллективом право требовать для себя собственного государства с его территориальными границами и всем прочим. В большей же или меньшей степени такого рода самоопределение всегда и обязательно должно привести к образованию не национального государства, а империи, хотя бы микроскопических размеров. Как ни переделявай политических границ европейских народов, национальный вопрос останется неразрешенным до конца. Разве только путем «чистки».

Нигде и никогда нация не была базой, на которой создавалось государство. Вздор, будто народы делятся на «государственные» (*Staatsnation*) и лишённые государственного «инстинкта», и будто в одних зонах Европы возникли национальные государства по воле народов, а в других — нет, потому что народы не стремились к этому. Раньше, чем народы знали о себе, что они — народы, в Европе возникла политическая система, система организацией силы, созданных владельцами отдельных территорий, население которых состояло из подданных этих владельцев. Различные комбинации самых разнообразных и случайных, один по отношению к другому факторов — вера, династические отношения, географические условия, войны, торговля — обусловили собою то, что в одной зоне племенное, языковое, вероисповедное единство совпадало с политическим, в другой — нет, что с терминами «Франция», или «Англия» связывалось представление об определенной области, где все люди были «французы» или «англичане», все — или почти все — говорили на одном и том-же языке, исповедывали одну веру, подчинялись одному государю и одному общему закону; что с терминами «Германия», или «Италия», связывалось представление о такой же определенной области,

где тоже все — или почти все — «немцы», «итальянцы» имели общий язык, походили друг на друга нравами и обычаями, но не имели ни общей власти, ни общего права, ни общих границ; наконец, что в течение веков одно из первых мест в политической системе Европы занимала величина, которой нельзя было назвать иначе как «наследственные земли Габсбургского дома». И эти «наследственные земли» и самая сильная с XVIII века германская держава, получившая свое имя по территории, где немцы были пришельцами, и владения которой были разбросаны по всей Германии, Пруссии, и Парма или Модена представлялись в такой же мере «нормальными» образованиями, как и Франция или Англия. В эпоху Великой Революции и Империи, эпоху романтизма, Отечественной войны, битвы «народов», в европейском сознании наступил перелом. Народы осознали себя и стали приучаться к мысли, что «нормальным» является лишь такое развитие, какое проделали Франция и Англия, оказавшиеся самыми живучими, самыми прочными величинами; они стали считать, что их собственное развитие отставало в своем ходе от «нормального», но должно было привести к тем же результатам, к каким привела история «нормально» развивавшихся народов, — только с известным опозданием. Раз есть на свете итальянцы, должна — просто в силу закона исторической «эволюции» — быть Италия; раз есть чехи, должна быть Чехия, раз есть венгерцы, должна быть Венгрия, и т. д. Смысл европейской истории, с точки зрения исторической вульгаты, сложившейся в XIX веке, сводился именно к этому. А раз так должно было быть, раз в этом направлении шла «эволюция» Европы, то значит — это и могло быть достигнуто. И никто не хотел видеть, что это построение было на самом деле результатом подмены реальных величин именами. Историки, добивавшиеся того, чтобы восстановить прошлое, «каким оно было на самом деле» (постулат Ранке), когда они переходили к современности, оперировали, вместо реальностей, мифическими величинами. Поэтому было очень легко сочувствовать

одновременно всем вместе эмансипационным и сепаратистским тенденциям и движениям в средней и восточной Европе, просто не замечая того, что условием успеха одного какого-нибудь из таких движений был — в силу необходимости — провал другого. Можно было сочувствовать борьбе венгерского народа за свое самоопределение и борьбе славянских народов — за свое, не замечая, что, во-первых, и венгерские демократы, как, например, Кошут, и знать ничего не желали о словаках или хорватах; во-вторых, что для польских патриотов освобождение Польши означало образование польского государства в его «исторических» границах, — «от моря до моря», что исключало эмансипацию украинского народа. Историческая вульгата изображала процесс развития средней и восточной Европы как борьбу народов против — «деспотов», не принимая в расчет того, например, что как раз Меттерних, олицетворение «реакции», «деспотизма», «темных сил», поддерживал каждый из народов Австрии в его стремлениях к тому, чтобы пользоваться своим языком, иметь свою школу, свою печать. Разумеется, всего менее Меттерних руководствовался соображениями сентиментально-романтического свойства. Для него дело шло о сохранении в неприкосновенности «наследственных земель Габсбургского дома»: национальные распри должны были, в его глазах, обеспечить состояние равновесия в пределах австрийской монархии. Как бы то ни было, он по своему понимал то, чего не понимали другие, а именно, что национальная проблема не только не исключает проблемы единства, но только при сохранении единства и может быть «разрешена». Впоследствии, — поскольку дело идет об Австрийской Империи, этой, можно сказать, Европы в сокращенном размере, — это поняли австрийские социал-демократы и несчастный эрцгерцог Франц-Фердинанд. Его убийство, явившееся прямым поводом к пан-европейской войне и крушению Европы, было фактом грандиозного символического значения. Оно было результатом упорного и, к сожалению, кажется, неискоренимого непонимания европейским «*Massenmensch*» (категория,

к которой должно быть отнесено и большинство руководителей, и фальсификаторов, европейского общественного мнения) сущности и смысла европейской истории: непонимания, у одних, факта наличия народов как равноправных коллективных индивидуальностей, число которых может расти, не считаясь с тем, занесен ли тот или другой народ в картотку исторической вульгаты, у других — того, что национальная проблема в Европе может быть разрешена только при одном условии: упразднения отдельных национальных, или псевдо-национальных государств, образования европейской федерации. Нет никакой возможности размежевать Европу так, чтобы политические границы всецело совпадали с этническими или языковыми. В каждом государстве есть — и не могут не быть — чужеродные элементы. Государство же есть организация силы. А быть сильным для современного государства, держащегося национальной армией, общественным мнением, означает быть однородным. Так или иначе, оно стремится отделаться от чужеродных элементов — путем ли «чистки», или принудительной денационализации их. Покуда в Европе отдельными ее зонами управляли короли, князья, герцоги, — они вели друг с другом борьбу за преобладание, но они могли ограничивать свои аппетиты, руководясь соображениями целесообразности, осуществимости своих целей; они могли, группируясь по отдельным «осям», добиваться состояния равновесия. Европейская политическая система и была системой равновесия политических сил, нарушившегося лишь изредка и на краткие промежутки времени. Сейчас принято говорить о балканизации Европы. Формула эта гораздо значительнее, чем это думают пользующиеся ею: дело в том, что как раз на Балканах государства создались не монархиями, а народами, в борьбе за право самоопределения — и вот почему на Балканах никогда не было достигнуто состояние политического равновесия, ибо размежеваться так, чтобы не было спорных зон, чтобы стратегические границы совпали в этническими, языковыми или «естественными», не было никакой возможности.

«Балканизация» Европы состоит в том, что и в Европе «народы» из культурных, языковых, вероисповедных коллективов — чем они были в течение веков, превратились в то, чем были в течение веков короли и князья с их «кабинетами» и наемными войсками, в центры сил. Но народ не то же самое, что монарх. Монарх воплощал в себе государство, но все же — была грань между субъектом, обладателем силы, и объектом, самой этой силой. Монархи обменивались между собою землями, народами, когда это было необходимо ради поддержания равновесия, и — оставались монархами. Для народа же это равносильно утрате руки, ноги, носа, а то и головы. Монарх мог, достигнув известной степени «величия», успокоиться на этом. Народу остановиться на пути своего саморазвития — покуда он мыслит себя по аналогии с вытесненным им монархом — негде. Его «тело» это его — и никого другого — земля; его «душа» связана с этим его «телом», и никакой другой «душе» вселиться в это «тело» не дозволяется. А к этому присоединяется еще и другое: народ безостановочно растет — и потому ему все теснее и теснее в его собственном теле; а так как отношения между «телом» и «душою» в этого рода организмах такого свойства, что нет ничего легче, как высадить из тела одну какую-нибудь душу и заменить ее другою, то народ в процессе своего роста пред'являет свои «священные права» на все новые куски чужих тел, ссылаясь на исторические прецеденты, на географические условия («естественные» границы), на свою историческую «миссию».

Над европейским сознанием до сих пор еще продолжают тяготеть пережитки первобытных, дикарских, антропоморфических навыков мышления — с особенной силой как раз в моменты кризисов. До сих пор еще не было осознано, что народ, как и Церковь, не то же самое, что человек или любое другое животное; что структура этих величин совершенно иная, что это — духовные единства, а не «организмы»; что они живут, могут жить, только в человеке, в его сознании, его душе. Стоит увидеть это, и тогда национальный вопрос

разрешается сам собою, — без всяких пактов о ненападении, о вечном мире, без всяких, больших и малых, «ententes», статutow о правах меньшинств, только прикрывающих то состояние непрерывной войны, паники, психоза национальной дурацкой, бесчеловечной самовлюбленности, ведущей фатально к национальному обезличению, в которое европейские народы сами себя ввергли и из которого они не находят выхода.

П. Бицилли.

## Экономический строй и интеллектуализация общества

Идеально совершенный социально-экономический строй должен обеспечить каждому члену общества духовные и материальные условия нормального развития, ведущего к порогу Царства Божия. Однако силы, способности, духовные и материальные средства человека в земных условиях чрезвычайно ограничены. Попытки иных социальных реформаторов одним судорожным прыжком сразу поднять общество на гораздо более высокую ступень развития, обыкновенно только разрушают достигнутое раньше скромное добро и вовсе не осуществляют новых высших форм совершенства. Однако наше время имеет исключительный характер. Мы живем на переломе от одного общественного строя к другому. Быстрое развитие техники, высокий уровень промышленности дает возможность в короткий срок вырабатывать огромные материальные богатства, но, при современных условиях обмена и распределения, эти богатства недоступны народным массам и наличность их ведет только к ухудшению положения — к безработице и к возрастанию нужды множества лиц.

Вспомним некоторые факты, характерные для наше-

го времени. Экономист Дюбозн в своей книге «Освобождение» сообщает, что в Соединенных Штатах в промежуток времени от 1920-1929 г.г. производство возросло на 25%, между тем число рабочих, вследствие усовершенствования техники, уменьшилось на 7%. Огромные запасы продуктов подвергаются уничтожению с целью уменьшить кризис, вызванный тем, что производство быстро возрастает, а покупательная сила населения вследствие безработицы падает. В 1933 году в Соединенных Штатах «было уничтожено 2 миллиона тонн манса и, может-быть, еще большее количество пшеницы»; для сокращения производства «было убито 6.200.000 свиней и 220.000 племенных самок». «Производство молока законом было уменьшено на 15%, вследствие чего пришлось убить 400.000 коров. В Лос-Анжелес в течение нескольких месяцев 200.000 литров молока выливалось каждый месяц в сточные трубы. В Гарфорде выливалось 20.000 литров ежедневно». «В 1934 году несколько тысяч овец было обречено на смерть от жары, потому что их не стригли». «Три миллиона фермеров получили от государства в долларах сумму, равную 12 миллиардам франков, под условием, чтобы они не возделывали 18.400.000 гектаров полей, которые они обрабатывали раньше». <sup>1)</sup>

Современный экономический кризис явным образом требует глубокого изменения капиталистического строя. В обществе, где промышленность и техника способны производить огромные запасы материальных благ и удовлетворять потребности человека, нуждаясь все в меньшем количестве рабочих, распределение продуктов и услуг не может совершаться, как прежде, только путем купли и продажи. Высокая техника производства должна быть дополнена высокою и притом своеобразно новою техникою распределения материальных благ.

Без сомнения, эта социальная проблема может быть разрешена многими, весьма различными способами. Разработка их — задача экономистов, практических общест-

венных деятелей и в особенности инстинктивного социального творчества. Переход к новому типу социально-экономического строя будет совершаться постепенно, отчасти ощупью, как это наблюдается в наше время, например, в Соединенных Штатах. Можно представить, например, такой строй, в котором государство в союзе с городским и земским самоуправлением взяло бы на себя обеспечение всем членам общества всех жизненно необходимых благ и услуг, — главных пищевых продуктов, одежды, жилища, врачебной помощи и т. п. Во избежание так называемого «бюрократического социализма» (канцелярий с большим штатом служащих, многократных анкет, канцелярской волокиты), следует переводить различные виды жизненно необходимых продуктов и услуг в разряд обеспеченных государством весьма постепенно, но за то щедро. Каждый член общества мог бы получить, например, в начале года на определенную сумму бонны, действительные на срок одного года, и покупать продукты и услуги в обмен на эти бонны. Все остальные нужды могли бы обслуживаться старою системою частной промышленности и обычными способами купли и продажи за деньги.

Высокая техника производства должна привести к глубокому изменению состава общества: число лиц занятых физическим трудом будет уменьшаться; наоборот, число лиц, занятых интеллектуальным трудом, может и должно быть очень увеличено. В самом деле, необходимо помнить, что есть разряды служащих (например, почтовые чиновники) и интеллектуальных работников, переобремененных тяжелым трудом (например, врачи, педагоги и т. п.). К тому же нужды общества обслуживаются интеллектуальным трудом очень недостаточно: количество врачей, учителей, воспитателей, ученых, деятелей искусства должно быть многократно увеличено как для того, чтобы полнее удовлетворять все духовные потребности общества, так и потому, что интеллектуальным труженикам необходимо иметь досуг для совершенствования в своей специальности.

Отдадим себе отчет, например, в том, как следовало

<sup>1)</sup> I. Duboin, Libération, Paris 1936.

бы организовать медицинскую помощь и санитарно-гигиеническую службу. Правильное лечение и в особенности предупреждение болезней возможно лишь в том случае, если есть институт семейных врачей, следящих за здоровьем каждого члена лечимой семьи с момента его рождения, знающих индивидуальность и условия жизни их. В случае трудно определимого заболевания или недомогания должны быть произведены всесторонние исследования выделений больного, крови его и т. п., а также наблюдения над деятельностью сердца и других органов. Это возможно лишь при наличии большого количества лабораторий и гигиенических институтов, производящих такие анализы и исследования. Большой персонал нужен также для надзора за благоприятными условиями труда и для выработки этих условий.

Правильная постановка воспитания и образования детей и юношества также требует большого увеличения числа педагогов. Классы, в которых учится 60 детей, не редкость в наше время во многих странах. В таком классе учитель не может приспособляться к индивидуальности учеников, и занятия поневоле превращаются в скучное заучивание текста учебников.

Еще большее увеличение количества воспитателей и учителей должно быть осуществлено для того, чтобы превратить современную мертвую школу в живую. Произойдет это тогда, когда школа будет соответствовать потребностям и интересам ребенка, воспитывая все его способности и отвечая всем запросам его интеллекта. Современная школа, первоначальная и средняя, почти исключительно посвящена сообщению знаний, главным образом пассивному. Ребенок и юноша сидят ежедневно на школьной скамье по пяти часов и более; придя домой, они должны бывают нередко затрачивать еще часа три или более на приготовление уроков. Очень часто молодой человек бывает лишен прогулки, возможности подышать свежим воздухом и удовлетворить потребности в движении, столь необходимом для молодого организма. Рабочий день ребенка и юноши зачастую оказывается более длинным, чем у

фабричных рабочих. К тому же часть этого времени бывает нередко заполнена нелепыми занятиями, например, переводами с родного языка на латинский или заучиванием многих сотен названий городов, маленьких рек и т. п., не сочетаемых ни с каким содержательным знанием. По истине такая школа, особенно часто это бывает со средней школой, уподобляется системе каторжных работ. В самом деле, существенные признаки каторжной работы — принудительность, неспособность, однообразие, бесполезность — присущи труду, возлагаемому на детей и подростков во многих средних школах.

Школа должна учить и воспитывать с целью содействовать раскрытию всех способностей человека, необходимых для творческой или, по крайней мере, подражательной деятельности, воплощающей ценности добра, красоты, истины, богатства жизни. В таком всестороннем развитии на равной ступени с приобретением теоретических знаний и упражнением мышления должно стоять физическое воспитание, а также развитие художественных способностей, по крайней мере, настолько, насколько это необходимо для полноты восприятия произведений искусства. Многие сведения и упражнения должны приобретаться в живой школе путем разнообразных экскурсий — естественно-научных, исторических, эстетических, спортивных, знакомящих с современной техникой, общественными учреждениями и т. п. Современный идеал трудовой школы требует также не пассивного усвоения знаний, а самодеятельности воспитанников.

Ясно, что правильная постановка школы должна привести к большому увеличению числа учителей и воспитателей, а следовательно, и педагогических институтов, а следовательно, и университетов. Есть еще одна потребность, для удовлетворения которой число лиц, занятых интеллектуальным трудом, должно чрезвычайно возрасти. В странах с высоко развитой техникой количество часов физического труда будет все уменьшаться. Поэтому у рабочих явится досуг, и заполнить его не пустыми или даже вредными развлечениями, а разумной деятельностью бу-

дет в состоянии лишь то общество, в котором образуются большие кадры интеллигенции. Искусство, наука, философия и религия должны быть использованы для того, чтобы дать богатое содержание духовной жизни обществу, освободившемуся от бремени физического труда. Общества музыкантов, певцов, любителей театрального искусства, живописи и т. п. должны быть многочисленны и могут процветать не иначе, как имея в своем составе руководителей, получивших специальное образование. Точно так же в каждом городе и даже большом селе должны быть ученые общества — естественно-научные, исторические, лингвистические и т. п. Такие общества могли бы брать на себя систематические наблюдения над некоторыми явлениями природы, охватывающие всю страну, собирать материалы для изучения социальной жизни и т. п.

Народ, освободившийся благодаря совершенству техники от изнурительного физического труда, должен привлекать всех граждан к высокой духовной культуре. Не только всем способным, но и всем желающим должна быть обеспечена возможность получения высшего образования. Некоторые люди говорят с ужасом, что при таком распространении высшего образования не всем интеллигентам можно будет обеспечить труд по их специальности; тогда может случиться, что, например, доктор классической филологии будет работать где-нибудь на постройке шоссе. В чем же здесь бедствие? задали бы мы вопрос. Такой рабочий будет заполнять свой досуг не посещением трактиров, а чтением Эхила или Платона в подлинник и приобщением лиц, не имеющих таких знаний, к великим ценностям античной культуры.

Особенно вреден такой способ сокращения числа лиц с высшим образованием, как введение барьерных экзаменов. Во многих странах экзамены на аттестат зрелости и некоторые университетские экзамены устроены так, что сроки сдачи их и количество часов непрерывного труда требуют крайнего напряжения памяти, всех умственных и даже физических сил. Следствием таких экзаменов является невращения и другие душевные и телесные расстрой-

ства даже у лиц высоко одаренных (см. например, автобиографию такого выдающегося лица, как W. R. Inge «Vale», стр. 28 и сл.). Такая нелепая растрата сил личности есть тяжкое социальное бедствие. Следует не уменьшать, а увеличивать число лиц, обладающих средним и высшим образованием, не связывая однако с ним никаких особенных прав и привилегий. Диплом высшего учебного заведения должен быть только необходимым, но еще не достаточным условием для получения некоторых определенных должностей и званий.

Чтобы обеспечить медицинскую и санитарную службу в широких размерах, чтобы усовершенствовать школу и поднять образование на должную высоту, вообще, чтобы обслужить духовные нужды общества, необходимы громадные средства. Откуда взять их? Мне могут сказать, что современное общество не обладает богатствами, необходимыми для осуществления намеченной мною программы. В ответ на это возражение я высказываю уверенность, что страны с высоко развитою промышленностью обладают богатством, вполне достаточным для намеченных мною целей. Чтобы убедиться в этом, оставим в стороне деньги: подлинное богатство страны заключается не в золотых и серебряных монетах, а в производимых продуктах. Представим, с одной стороны, все множество лиц, занятых интеллектуальным и физическим трудом; а также лиц, неспособных к труду и нуждающихся в поддержке, а с другой стороны, множество предметов, необходимых для нормального уровня жизни их — платья, обуви, жилищ, продуктов питания и т. п. Богатство, необходимое для жизни, заключается именно в этих материальных благах. Без сомнения, такие страны, как Соединенные Штаты, Англия, Франция, Германия и т. п. способны производить не только все это множество материальных благ, но и гораздо больше того, что требуется для удовлетворения нормальных нужд своих сограждан. Отсюда следует, что эти страны достаточно богаты для того, чтобы осуществить изложенную выше программу усложнения и использования интеллектуального труда. Весь вопрос в том, как перейти с

наименьшими потрясениями от современного экономического строя к новому порядку: нужно так изменить экономику, чтобы промышленность служила удовлетворению нужд общества, а не целям хищнического обогащения и наживы отдельных лиц, но вместе с тем, чтобы инициатива частных лиц, заинтересованность их в труде, дисциплинирующее влияние частной собственности и т. п. ценные стороны капиталистического строя не были утрачены.<sup>2)</sup>

Потенциальное богатство современных культурных стран особенно интенсивно могло бы реализоваться, если бы найдены были надежные средства обеспечения коллективной безопасности, так что можно было бы уменьшить расходы на вооружения.

Не следует однако думать, будто социально-экономический порядок, обеспечивающий всем членам общества право на труд и необходимые материальные условия жизни, был бы осуществлением совершенно идеального общественного строя. Поскольку и люди и симфоническая личность общественного целого эгоистичны, каждое нововведение может подвергаться искажениям и даже может быть использовано, как новое средство притеснения человека, эксплуатации и т. п. Многие лица в наше время влюблены в свои мечты о социализме. Однако прав Бердяев, утверждающий, что и «социализм в опыте осуществления своего будет совсем не тем, к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни», «он никогда не осуществит того освобождения человеческого труда, которого Маркс хотел достигнуть связыванием труда, никогда не приведет человека к богатству, не осуществит равенства, а создаст лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и новые неслыханные формы гнета».<sup>3)</sup>

Совершенный идеал осуществим не иначе, как после полного освобождения от эгоизма, не иначе как на основе совершенной любви к Богу и ко всем тварям, следовательно

<sup>2)</sup> См., например, С. Гессен «Проблемы правового социализма», «Современные Записки», 1924-1928 г.г.

<sup>3)</sup> Бердяев, Смысл истории, стр. 238.

но, только в Царствѣ Божием, где не только духовная жизнь наша, но и сама телесность подвергнется преобразению. «Цель истории», говорит от С. Булгаков, «ведет за историю, к «жизни будущего века», а цель мира ведет за мир, к «новой земле и новому небу». «Если рассматривать историю в ее собственной плоскости и в ее непосредственных достижениях, то следует признать, что история есть великая неудача, какое-то трагическое недоразумение. Во всех отношениях приводит она к мучительным диссонансам и трагическим безвыходностям, и ни одно из глубочайших стремлений человечества не является удовлетворенным».<sup>4)</sup>

Однако именно эти неудачи истории благодетельны: они исцеляют от опасных увлечений идеею человекобожия или народобожия или многобожия, от веры в гуманный прогресс, движущую силою которого является «не любовь, не жалость, но горделивая мечта о земном рае».

Неосуществимость совершенного общественного порядка в условиях земного бытия, подчеркиваемая современною русскою философию, давно уже выяснена в трудах проф. П. И. Новгородцева «Кризис современного правосознания» (1909) и «Об общественном идеале» (1-е издание, 1917 г.). Свой тезис П. И. Новгородцев обосновывает на рассмотрении отношения между индивидуумом и обществом. Имея в виду не родовое понятие человека, а конкретную индивидуальную личность, Новгородцев устанавливает неотразимо убедительно, что «антиномия личного и общественного начала» не устраняема в пределах земного бытия: «Гармония личности с обществом возможна лишь в том умопостигаемом царстве свободы, где безусловная и всепроникающая солидарность сочетается с бесконечностью индивидуальных различий», т. е. в Царстве Божием. «В условиях исторической жизни такой гармонии нет и быть не может» (Об общественном идеале, 3-ье издание, стр. 141). Отсюда становится понятным констатируемый Новгородцевым факт «круше-

<sup>4)</sup> От. С. Булгаков, Свет невечерний, стр. 410, 408.



ния веры в совершенное правовое государство, а также веры в социализм и анархизм, вообще «крушение идеи земного рая». Относительной правды достижений современного правового государства, а также исканий социализма и анархизма Новгородцев не отвергает, но он устанавливает несоизмеримость их с идеалом абсолютного добра. Поэтому, чтобы не попасть в безвыходный тупик, необходимо строить идеал земного общества, имея в виду «свободу бесконечного развития» личности, а «не гармонию законченного совершенства».

Преобразование экономического строя должно руководиться мыслью, что свобода развития личности есть принцип более ценный, чем совершенное удовлетворение материальных потребностей. На первом плане, конечно, стоит духовная свобода, именно свобода совести, свобода мысли и слова, и т. п., но также не маловажное значение имеет и некоторая степень свободы хозяйственной деятельности. Некоторые области хозяйства должны быть в руках частных лиц хотя бы для того, чтобы полнее и всестороннее обеспечить духовную свободу человека и независимость его от государства (например, частные лица должны иметь право основывать типографии, издательства, книжные магазины, библиотеки и т. п.). Поэтому обобществление и огосударствление хозяйственных предприятий не должно заходить слишком далеко. Сочетание двух систем хозяйства, государственно-общественной и частной в наше время лучший способ удовлетворить, как материальные, так и духовные нужды человека.

**Н. Лосский.**

## „Доклад Свифтсона“<sup>1)</sup>

1) «Мы должны быть святы, — так начал Свифтсон. — Для того, чтобы влиять на других, по моему последнему, внутреннему убеждению, остался еще только один аргумент: личная жизнь. Все остальное пошло прахом. Мы должны быть святы. Не потому, если угодно, что мы естественно тяготеем к ней, что о ней свидетельствует наш духовный опыт, или что она предписана свыше, — все спорно. Бесспорно следующее: только святость может еще оказать стойкое влияние на человека, очистить воздух, которым он дышит.

2) Мы соберемся в Новый Монастырь. Этот монастырь я мыслю посреди площади. Между улицей и нами нет ограды, нет дверей. Конвульсия города, клочкотание крови, испарения страстей пронизывают нас непрестанно. Мы должны поглощать эти ядовитые газы, как некий универсальный, химический раствор, нейтрализовать и упорно посылать в обратном направлении уже другие сигналы и лучи на пол световой волны позже, — интерференция. Парами, с утра до рассвета, издали узнаваемые, идем по улицам и бульварам, по площадям и рынкам, спускаясь в подземелья, поднимаясь на восьмые этажи, неустанно вплетаясь в косную материю жизни, переходя от дела к делу. Мы молчальники. Наша проповедь, — милосердие: немедленное, бесплановое, насущное, мудрое вмешательство.

3) Мы оказываем помощь встречным не потому, что считаем страдания бессмысленными и, разумеется, мы их всех (последствия) не сможем устранить. Мы становимся рядом со страдающим, протягиваем ему наше сердце, дабы он не чувствовал себя больше сиротой (*de profundis cla-*

<sup>1)</sup> Отрывок из романа «Портативное Бессмертие».

тavi): тогда его душа благостно согревается, а вместе с этим меняется структура всего мира. Давая нищему медяк, все знают: явная помощь равна грошу. Но те, что видят: вот вы неожиданно стали среди общего, озабоченного бега, порылись в кошельке, вернулись вспять на несколько шагов и, стесняясь замишки, внимания, вручили... те вдруг слышат тихий благовест; они обоняют запах возможного эдема, умиленные, что-то в них расцветает: «Нет, — прорывается, — не одинок человек в этом мире, пусть мерзость, жадность, преступления, сладострастие, поножовщина, пусть, пусть все, но тем чудеснее эта распутившаяся на асфальте роза милосердия, что-то есть еще, еще есть неописанное под этим небом, за нашим окном, тыном, порогом, благословен Бог и помнящие родство». Вот что произошло во вселенной после грошика, и хотя все тотчас же разбежались, через минуту море сомкнулось, но разные нити уже переплелись, связались, и многие круги пошли во всех стороны, значение которых для нас — безусловно. Мы творим конкретное, чтобы — рикошетом — показать на мгновение третьим, свидетелям, контуры скрытого неба; донести к ним голоса. И они благословят бытие, умилятся помнящим единство, почувствуют освежающий запах добра, вкус любви, — вовлекутся, наконец, сами. Таким образом наша задача не исчерпывается простым оказанием помощи: мы должны стараться создавать такие положения, где бы один встречный мог радостно услужить другому, — приобщиться. Беспрерывным потоком заботливости, дождем нежности мы станем поливать площади и рынки, улицы и скверы, купая, согревая замерзшие сердца. О, они только и мечтают, они жаждут оттаять: страшно, скучно, убийственно жить без этого счастья, — вы знаете по себе. Бессознательно, все только ждут попутного ветра, точки приложения, места за рычагом. Создавайте этот ветер.

4) Мы кочуем из квартала в квартал, постепенно в каждом участке образуя что-то в роде центра, штаба, с растворенными настезь окнами и дверями. Избегайте рекламы, отвлеченных споров и помощи через третьи руки:

только видевшие вас непосредственно на работе, видели, узнали вас, — и запомнят. Поэтому: мы все умеем делать. XX век еще не знал такого скопления разносторонних специальностей под одной кровлей. Непрестанно трудясь, мы можем овладеть всей современной культурой и техникой. Исправить заглухший мотор, погрузить тяжесть, принять ребенка у внезапно рожавшей, крестить умирающего младенца, проплыть 1.000 метров на спине, защитить подсудимого, пронести арию из Фауста на перекрестке, сыграть Реквием в публичном доме, — вот гамма.

5) Великое зло — от денег. В этом — мы францисканцы. У нас не будет денег. Попавшие в руки утром суммы следуем израсходовать до вечерней звезды. На этот счет не должно оставаться никаких сомнений: ни денег, ни имущества, ни имени (в тех случаях, когда пришлось бы выступить на собрании или в печати).

6) Мы носим одежду, которая издали бросается в глаза каждому. Я полагаю: наши лица должны быть закрыты, что облегчит, на первых порах, работу среди незнакомой, может, враждебной толпы. Я пришел к убеждению, что главная причина грубости людей таится в страхе показаться смешным. Условному эстетизму или самолюбию приносится в жертву все остальное. Человек предпочитает поступить жестоко, но только не выглядеть глупо. От воображаемой комичности спасаются резкостью. Вот почему я хочу закрыть наши лица — светлой тканью или газом. Кто сочтет себя уже вне этой опасности, — снимет забрало (для каждого этапа свои наставления).

7) Люди больше всего страдают душевно от измены, кровоточат, леденеют от предательства, с детских лет ищут, жаждут верности в отношениях. Вот почему мы должны быть: верными. Всегда, каждому, на любом месте: долгу, правде, себе, законам, Господу, прохожему, — постоянно. Верность первая наша черта. Вот почему я предлагаю звать нас: Верными.

8) Я сказал уже: мы молчаливники. Проповедь — наша личная жизнь и плоды. Но есть люди, чья радость в слове. Им надо позволить умеренно говорить. У нас бу-

дут разные группы или Круги с преобладанием тех или иных особенностей; они функционируют как один организм; в каждом от 8 до 12 человек (так что два Круга по 12, выделяя каждый четверых, дают начало — новому, третьему). Круги эти проходят под различными знаками («специальности»): есть говоруны, молчаливники, социального опыта, религиозного. То же насчет целомудрия: я, как и многие, не вижу иного пути. Но всякий человек имеет свою биографию, свою судьбу, а мы создаем братство личностей, чей духовный опыт находится в разных фазах, — они могут и хотят идти вместе. Итак: будут Круги и — «не вместивших до конца». Но как в Круге имеется инженер, врач, артист, атлет, так же обязателен — молчаливник и целомудренник (хотя бы по тяготению). Молчаливнику трудно пребывать рядом с пропагандистами (и наоборот). Их отряжают только на время в Круги с чуждыми преобладаниями, чтобы незаметно влиять друг на друга, срастаться.

9) Вновь поступившие и старые братья пользуются теми же правами. Вопрос о иерархии ставится так: чем меньше у Верного опыт, тем большими привилегиями он может пользоваться. Старшиною Круга избирается худший из членов его. Чтобы править, надо обладать некоторыми дурными чертами: быть суровым, порою распорядиться людьми, как предметами. Старшину так и зовут: Худший. Можно себе представить следующее положение: избираемый в продолжение ряда лет, Худший, наконец, забаллотирован; — обливаясь радостными слезами, он кланяется братьям, молит вновь избранного простить его, и все возносят хвалу Господу.

10) Я сказал «хвалу Творцу», потому что не мыслю нас безбожниками. Но мы должны строить так, что, когда придет человек и заявит: я не верю в Бога, но ваше дело мне нравится, с моего сердца сползают ледники, вот я перед вами и желаю — как вы... то и для него (а таких много) найдется у нас место, Круг. К этим мы будем относиться с двойною нежностью и благоговением. Мы, знающие Христа, пришли, — что же тут удивительного? Нам

трудно, а, ведь, помощь есть! Но им то какво: словно грузчики, взвалившие непомерную ношу. В нашей иерархии таким, по праву, принадлежит высшее место.

11) Придет некто и скажет: «Я тянусь к вам давно, сердце мне говорит, — ваш; но еще не совсем, не решился, занят работою, личной жизнью, не могу еще пока целиком; дайте мне возможность в этом положении что-нибудь делать». Для них нужно приготовить место у рычага. С радостью и полною ответственностью, ибо влияние этих идущих навстречу огромно: не порывая с бытом, с инерцией жизни, с ее аппаратурою, вращая в нее, — в канцелярии, в лавке, на заводе, у станка, — плотно прилегая ко всем частям общества, они будут постоянно разносить, давать, бросать наши бесконечно малые — витамины — в самые недосыгаемые подполья. Их не надо снимать с мест. Наоборот, должно занимать освободившиеся гнезда, постепенно разливаясь, вытесняя «мертвых», захватывая мелкие, унтер-офицерские посты (министры и генералы в меньшей степени держат в плену всю жизнь). Есть особые, «горестные» места, где человек чувствует свое сугубое одиночество: в канцеляриях, в больницах, на кладбище. Представьте себе: полицейский участок, где вас вдруг встречают как старшего брата, верят на слово, — в пять минут уладили дело, — разве не близко уже Царство Божие? Или вот, консьержка: улыбнулась бескорыстно, поклонилась, объяснила, сама показала, — страшный суд уже за плечами! А в больнице или в бюро похоронных процессий: утешили, пропустили не в урочный час, пожали руку, отказались от вознаграждения, — воскресение из мертвых не за горами. Консьержки, могильщики, санитары, это все орудия с огромным радиусом действия. Вот почему мы с предельною серьезностью должны подойти к этому вопросу, помогая каждому из вышесупомянутых выполнить свое исключительную миссию. У нас будут Круги — летучие, текучие: действующие только в определенные часы, после работы, во время week-end'ов, по праздничным дням... В каникулярные месяцы наши двойки: медик и техник (артист и спортсмен)... на велосипедах бу-

дут колесить по большим и малым дорогам, творя милосердие, рождая всюду нежность и преображающее мир угасающее чувство благодарности.

1) Новые Верные принимаются легко, без каких бы то ни было испытаний: они включаются в Круг, где преобладают старые братья, — их выделение в самостоятельный Круг происходит не сразу. Вопрос о сестрах ставится так: есть Круг братьев, и сестер. Те же, что чувствуют себя в силах, идут в смешанные Круги. Последние могут проявить особую, неожиданную, героическую деятельность. Не совсем кстати, я здесь скажу о проститутках. Великая радость для Верных иметь среди своих — вышедшую оттуда. У нас будут Круги, действующие преимущественно в этом направлении: не социально, не организованно, а живым духом и общением. Вы слышали о Виталии-монахе? Он поселился стариком в Александрии; днем работал в порту, а ночи проводил в домах терпимости. Даже портовые грузчики, что прославились своим похабством, жаловались на этого старца, находя его поведение предосудительным. И только, когда Виталий-монарх умер, и несчастные, больше не связанные словом, открыто пошли за его гробом, плача и распевая гимны, вся правда предстала Александрии. Мы будем чтить Виталия-монаха, равно как и Франциска Ассизского.

13) Как разные клетки и органы тела регулируются одной жидкостью, их питающей (кровью, секрецией), так все отдельные Круги управляются единым духом, их омывающим. И только. Для обсуждения частного вопроса иногда созывается собор Худших. Если должно кончиться голосованием, то принимается мнение оставшихся в меньшинстве: «именно потому, что вы не правы, что вы в одиночестве и слабости, мы с легким сердцем отрекаемся от нашего множества и силы и в утешение вам, претерпевшим уже одно поражение, братски подчинимся вашей воле, дабы вы не возроптали и не ожесточились, а наоборот, видя смирение наше и радость жертвы, раскаялись бы и вернулись к целому». Это не будет иметь губительных последствий, хотя бы потому, что у нас нет — принципиаль-

ных вопросов. Это не может тормозить нашего движения вперед потому, что у нас нет — конечной цели.

14) Мы не ставим себе определенной цели во вне. Цель заставляет жертвовать путем: превращая его в пытку. Чем бесспорнее цель, тем все к более энергичным средствам можно прибегать, чтобы ее скорее достигнуть. Только во имя возвышенной цели можно обоснованно пользоваться дурными средствами; а поскольку идеал недосыгаем, остаются только, реально действующие, эти средства. Вот почему мы не имеем конечной цели. Позволительно сказать: наша цель — в средствах; или: наши средства оправдывают любую цель... но это похоже на игру слов. Все наши средства сами по себе могли бы являться целью (независимо оттого, следует ли за ними еще что-то или нет). О каждом нашем действии должно сказать: вот это и есть цель. Таким образом, всякий шаг Верного есть шаг у цели, — целью. Нет больше потерянного времени, минут, которые возместятся только, быть может, в реализованном раю. Всякий миг для нас так насыщен содержанием, дает столько радости, что уже не нуждается в продолжении. Мы можем сказать, что живем только настоящим, из каждого часа выжимаем все, так что приди за ним: сразу тьма, — и то нестрашно. Некий гурман (вы его знаете), когда его хватил первый паралич, сообщил друзьям: «но зато все, что могло быть поедено, — было в свое время поедено; попито, — было попито; погулено, — было погулено!». Так и мы в своем роде должны суметь сказать.

15) Каждый из нас иногда думает: «этот почти свой», или: «вон тот будет нашим, — завтра, через год». А сколько мы пропускали, не замечали, — тут же, рядом, — не догадываясь друг о друге. Как дадут о себе знать? Разве одиночка может самостоятельно открыть кампанию против целой системы? Они вянут и пропадают (кто возместит миру эти потери?). Даже если они еще не совсем дошли — укажите им бесспорное дело, и они на нем окрепнут, созреют: вольются. Ищите Верных повсюду: не взирая на место, возраст или положение. Юноша ищет под-

вига, заслуженной, вечной любви: он наш. Посмотрите, советские летчики составили правила: 1) человек удовлетворенный собою — погибший, 2) надо совершенствоваться всю жизнь... узнаете своих? Американский «король» повторяет: лучше опять стремиться вперед, чем успокоиться на достигнутом... он наш. В зрелом возрасте каждый вдруг начинает слышать идущие ему навстречу голоса; он просыпается ночью в гостинице и видит ужас: «красный, черный, квадратный». Узнаете? Воспитав, возрадив детей, человек вдруг остается снова один: ваш. Не отгоняйте врагов, не приклеивайте ярлыки, не приковывайте никого к прошлому, не предопределяйте его будущего. Язычник и христианин, иезуит и масон, марксист и романтик могут быть Верными в Круге.

16) Пролетариат борется за 8-часовой день, за 5-дневную неделю. Нужно ли еще повторять: какое это благо! Множить отвратительные, бесполезные или вредные (лишь бы рентабельные) предметы — 1,5, наконец, 10 часами меньше. Мы сочувствуем этой борьбе. Но мы хотели бы еще каждому доставить радость участия в иной, творческой работе, наполнить смыслом его досуг. Один из здесь присутствующих когда-то мыл окна витрин на больших бульварах. Высоко на узенькой лестнице, задрав голову и руки, мылить стекло, — а за ним: прозрачные чулки, манекены, галстуки, парики. Если можно на час в день меньше этим заниматься, — благо. Но представьте себе: нас позвали вымыть окна у заключенных (в тюрьмах, в камерах). С какой любовью и тщательностью мы бы протирали, очищали сантиметр за сантиметром доступного им неба. И кто бы тогда подумал о 8-часовом и прочее дне?

17) В отношении социальном мы за полное снабжение нуждающихся всем необходимым (и даже предметами роскоши, — пока ими пользуются другие). Мы только не занимаемся планированием, не выстраиваем организованно, последовательно все беды, хотя бы потому, что и без нас многие этим занимаются. Искоренение горя вообще есть уже такая цель, ради которой можно рискнуть

средствами. Наш путь иной. Каждого встречного голодного вы не оставите, пока не накормите, напоите, утешите. Может, у вас нету денег (о счастье!), тогда пойдите к торгующему и, если надо, продавшись в рабство, получите хлеб для голодного. Благо вам. Потому что для изменения структуры души и мира важно не только накормить, — но как вы это сделали. Так что акт подачи хлеба может вырасти чудесно в мистерию. Многие из нас, братья, имея 10 франков, подавали 2, 3 и 5; но кто, имея 10, отдавал 11? Я вам говорю: только вручая 11 при десяти, вы что-то дали и радость будет вам. Нет дела без жертвы, а то, что: «по мере средств», «посильно», — грех, ханжество и печаль. Наше же служение лишь тогда начинается, когда силы, казалось, кончились (так рекордсмен побеждает только на крайних сантиметрах-секундах). Только за этой чертой начинается чудо, тайна, Троица. (Я. Ты. Третий). Нынче все ратуют за хлеб для голодного; мы же раздаем страдающим — сердце.

18) Не разрушайте больше ничего. Даже тюрем. Всегда найдутся тяготесющие к этой форме героизма. На вашу долю выпало счастье войти в мир после цикла разрушения и ломки. Подумайте, вам больше нечего взрывать. Все поколеблено: государство, общество, религия. Из трех исторических церквей две разбиты; и если вы недовольны уцелевшей (католическою), — не беспокойтесь, разрушителей много. Все пожирают друг друга, даже самые понятия (тезисы, антитезисы) грызутся между собою. Науки, гипотезы, физика, экономика, — в прахе. Чего вы ждете еще? Стройте. Стройте рьяно и истово, чтобы спасти души тех, кто сжигал, чьим двусмысленным опытом вы богаты, — их гробнем вы внесены, сквозным ветром повиты. Если вам кажется: вот это еще нужно убрать... не заботьтесь, — всегда найдутся охотники топтать и корчевать. Эта форма героизма примитивна (архаична), юношам присуще тяготение к средствам, дающим немедленный результат. Желающих созидать меньше. Последнее серее, сложнее, неблагодарнее. Верные пусть строят: занимайте неэффективные, трудные места плотников. Не ищите

очевидных результатов и паче всего бойтесь немедленной справедливости (знаете ли вы что-нибудь несправедливее исторической справедливости?). Мы устанавливаем пока только несколько основных положений. Ничего мертвого, незыблемого, маниакального. Что дальше, — увидим. Новый опыт выдвинет новые требования. Основую являются: 1) верность, 2) самоограничение, 3) умеренность и 4) терпимость.

19) Нас питает мысль о Единой церкви. Верные — ведь, вы Церковь. Придя из разных культов и юрисдикций, мы фактически, на деле, соединим, переплетем их, скрепим цементом наших тел. Созидайте Церковь (не новую и не старую, а Единую), больше уже ничего не смеая. Евреи и магометане исповедуют Отца, индусы Святого Духа, а мы Отца и Сына и Святого Духа. Неужели вы думаете, что люди расходятся из-за принципов? Идеалы всех: левых, правых, атеистов и верующих, более или менее возвышенны. Вражда римско-католической и православной церковью началась не от различия догматов, а от убийственного сходства в средствах борьбы, допущенного главами обеих сторон. Поскольку нам суждено собирать Церковь, должно заняться вопросом о таинствах и обрядах. Вы не богословы, но не смущайтесь. Вселенский бич — это профессионалы. Вспомните как с Бонапартом воевал специалист, генерал Пфуль. Такой же генерал встретил химика Пастера, переплетчика Фарадея, физика Гертца. Тупицы Пфули преобладают. Бессмысленно их устранять: среди устраняющих большинство тоже Пфули. В экономике они приводят к финансовым крахам, не в силах во время отказать от условностей и предрассудков. В литературе они имеют свою теорию романа и эту мерку упорно (потому что, если-б они не были упрямы, они бы не существовали совсем; Пфули придумали, что гений этот упрямоство, и возликовали) прикладывают до чьей-нибудь окончательной победы. Тогда последующие Пфули перекидываются на сторону победителя, отливают новый эталон и возродившись продолжают свое исконное занятие. Но еще ужаснее Пфули в религии. Поэтому радуй-

тесь, что вы не специалисты-теологи. Верующие, чувствуют свое право заняться делом их жизни и смерти.

20) Мы будем иметь общие таинства. В обрядах, вероятно, первые годы должны одновременно принимать участие священники разных толков. Наши службы, гимны и молитвы могут быть совокупностью служб, гимнов и молитв всех церквей в сослужении их пастырей. И медитация индуса должна найти свое место. Если мы захотим избрать один язык для общей молитвы, или гимн, или обряд, то это будет не язык славного народа и не обрядность великой церкви, а, наоборот, — скромного племени и малой церкви. Потому что сильные, будучи сильными, могут легко уступать первое место слабым, и не будет соблазна, а радость.

21) Мы услышим обычное: наивно, легкомысленная утопия, вы ничего не достигнете. Можно взоразить: вы то большего достигли? а там, где достигли, быть может, и мы (или нам подобные) сыграли какую-то роль! Спорить бесполезно. Мы не стремимся к конечной цели, и радуемся только каждой минуте, проведенной в милосердии и любви. Я ограничусь этим. Если в моих словах вы подчас узнавали свои мысли, то и другие — на улице — услышат в нашем голосе: себя. Удел многих колебаться и ждать случайного, попутного ветра; на нас же падает тяжесть, — создавать этот ветер.»

В. С. Яновский.

## Апология пессимизма

Auf verstorbene Wege von Byzans...

George.

Намечая данную тему, буду исходить — из Ницше и К. Лсонтьева, а также Шпенглера.

Философско-исторические вопросы не были в центре внимания Ницше. Но у него можно найти схему или да-

же схемы философско-исторических концепций. О значительности его политического «духовного завещания» можно судить хотя бы по книге E. Schreiner'a — *Nietzsches politisches Vermächtniss in Selbstzeugnissen*. 1934.

Он осуждал веру Руссо в добрую природу человека, а также веру в мирный прогресс человечества. Ему были враждебны основные социальные тенденции XIX века — либерализм, национализм, социализм. Но подобно большинству столь враждебных ему социальных мыслителей прошлого столетия, он был оптимистом в плане историческом. Он надеялся, что известная варваризация окажется благодетельной для старой Европы. Он с удовольствием отмечал: «Наступает эпоха одичания и вместе с тем обновления сил». Он находил, «что приход к власти обойдется недешево: ибо власть приводит к поглупению» (*die Macht verdummt*), к варварству. Но это поглупление как будто не пугало его: «Современные немцы разучились думать — и хорошо делают! Они нашли себе лучшее занятие. — Их занимает теперь «большая политика», которая необходима для осуществления великих дел». И вот он утешается мыслью: «Немцы теперь редко задумываются. Но кто знает! — Может-быть, через два поколения, им больше не понадобится жертвовать умом ради воли к власти». Он мечтал о торжестве «белокурой германской бестии», о том, что «немцы... будут первым нехристианским народом в Европе» и о новых властных натурах, которые сумеют надуть серенькую европейскую демократию.

Конечно, к этим политическим заветам Ницше нужно отнести с большой осторожностью; и если он был пророком национал-социализма, то лишь — между прочим! Да, он как будто был готов купить волю к власти (*Wille zur Macht*) ценой поглупения (*Verdummung*). Но мы знаем, что эта цена была для него дорогой, слишком дорогой ценой, и поэтому (что вполне естественно) он впадал в противоречия. Так в одном письме он жалуется на немцев, говоря, что они слишком глупы для понимания его произведений! Но эти слова, конечно, были сказаны в минуту раздражения. Большого внимания заслу-

живает его отношение к пруссачеству, на которое он возлагал большие надежды: «Будущее Германии находится в руках сыновей прусских офицеров»; но он же призывал остерегаться прусского духа. Вот, что он пишет о «германской глубине» (*deutsche Tiefe*): мы хорошо сделаем, если и впредь будем гордиться данным нам наименованием народа мудрецов, и ни в чем не уступим трезвым, резким пруссакам. Также противоречивы и другие его «высказывания»: то он находил, что немцам полезно унижение, а то, как мы уже видели, мечтал о германском великодержавии, германской гегемонии; то заявлял «*gut deutsch sein heisst sich entdeutschen*» (быть добрым немцем значит разнемечиться), а то требовал очищения расы. Конечно, этого рода противоречия носят скорее внешний характер, и все они находят объяснение в творческих глубинах ницшевского духа. Но обсуждение этой проблемы завело бы слишком далеко. Обойдем также вопрос о развитии политических взглядов Ницше, и остановимся только на его оптимистической апологии благодетельной для Европы варваризации. Эта варваризация — уже не мечта, не домысел, а — сама действительность.

Можно сказать, что грубость, неразвитость есть признак исторической молодости народа. Но глупость, дикость, варварство — после периода культурного цветения — есть скорее своего рода вторая или третья молодость, т.-е. явление весьма сомнительного качества, нездоровое явление. — Как будто старику не пристало мечтать о диких страстях. Старческое бессильное вожделение — есть разврат. Молодиться — отвратительно; а омолаживаться — опасно: ведь, эта операция, как известно, сопряжена с большим риском.

Европа — немолода, и ей незачем позорить себя — молодиться и омолаживаться при помощи дешевых рецептов большевизма или фашизма. Она не должна предавать забвению своего великого прошлого, т.-е. традиции христианства и гуманизма.

К тому же низшие слои населения, — пролетарии и мелкие буржуа — не варвары; и если они нам иногда все-

таки кажутся варварами (когда их сбивают с толку современные народные тираны), — то, ведь, это весьма немолодые, т.е. плохие варвары, нервные варвары. Они любят спорт, но техника, индустрия нашего электрического века и массовый гипноз, применяемый современными диктаторами, их чудовищная черная магия расшатывают нервную систему так называемого нового варвара, который — не дитя природы, а прежде всего — городской человек.

В Тевтобургском лесу можно было жить будущим, но в казармах, на фабриках, в канцеляриях, в бетонных домах — невозможно. Однако, социально-политический футуризм до сих пор в моде: и приводит к бессмысленным жертвам. Этот оптимистический футуризм XX век унаследовал от XIX-го; формы — другие; но генеалогия его восходит к гуманистам-утопистам и либералам классического типа прошлого века. Ницше ненавидел и тех и других, но сам тоже был на свой лад оптимистом. В XIX веке очень трудно найти социально-политических пессимистов. Их было немного — но ими были, например, граф Ж. де Мэстр и К. Леонтьев. Остановимся на последнем. В русской литературе он стоит совершенно особняком. Бердяев верно указал, что его аристократический эстетизм очень чужд русскому сознанию.

К. Леонтьев был страшно одинок. Но, благодаря своему одиночеству, видел дальше, зорче. Он был философом и историком диллетантом, подобно Шатобриану, но обладал необыкновенно острым «чувством истории». Как удивительно — ведь, он вышел из той же среды, что Тургенев, Толстой. Но не правда, не добро, а красота всецело заморозила его. Он был эстет-хищник. Он писал: «Жанна д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангель? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости!.. Одно столетнее дерево мне дороже двух десятков безличных людей, и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры». Как известно, он десять лет служил консулом на Балканах. Пестрый, дикий балканский быт произвел на него необыкновенно сильное впечатление, и он жалел, что ему на смену идет ев-

ропейская цивилизация. Он писал: «Байрон не предвидел, что интересная Греция его Корсара есть лишь плод азиатского давления, и что освобожденный от турка корсар наденет дешевый скюртчишко и пойдет болтать всякий вздор на скамье афинской говорильни». Ему был ненавистен либерально-эгалитарный процесс европейской цивилизации. Также как Карлейль, Ницше, он ненавидел европейского цивилизованного филистера, *Durchschnittsmensch'a*. Он не знал Ницше, но у него с ним, несомненно, было много общего. Они оба прославляли мужественные, аристократические добродетели, и оба были пламенными защитниками неравенства.

Ницше писал: «Так говорит мне справедливость: люди не равны». И поэтому он ненавидел демократию. «Демократия указывает на отсутствие веры в великих людей и избранное общество: каждый равен каждому... А на самом деле, все вместе просто скоты». К. Леонтьев также ненавидел демократический идеал равенства. В так называемом цивилизованном обществе все становятся очень похожими друг на друга. Цивилизация — уравнивает подобно смерти. Трупы, скелеты — равны друг другу; но не живые существа. Равенство враждебно жизни. Основной принцип жизни — принцип неравенства. К. Леонтьев верил, что сам Бог хочет неравенства, противоположностей, разнообразия, сложности. Бытие — иерархично. Здесь он опять совпадает с Ницше, который говорил, что в век *suffrage universel* он хочет восстановить принцип иерархии (*die Rangordnung wiederherzustellen*). К. Леонтьев и Ницше ненавидели современную им демократию, потому что им было обидно за человека, который теряет лицо, тускнеет в процессе развития цивилизации.

Но Ницше, как мы видели, был оптимистом в плане истории. Он верил, что варваризация Европы приведет к обновлению сил: и появятся новые тираны, «*heggschaftliche und cäsarische Geister*», у которых будет воля к власти, к могуществу.

У К. Леонтьева этой веры не было. Социалисты ему импонировали больше, чем либералы. Он со злорадством



предсказывал, что социалистам пужна будет дисциплина: «Им понадобится предание покорности, привычка к повиновению». Он писал: «Хлеба и зрелищ! кричали римские толпы! Хлеба и веры! хотя бы ценою новых видов рабства, — будут кричать все народы Европы!». Бердяев в своей книге о К. Леонтьеве говорит, что он предсказал большевизм и фашизм, которые включают элемент веры.

Но новые войны и революции, новые идеологические опыты, ради которых будет литься кровь, не оживят Европы. К. Леонтьев находил, что европейское человечество — очень устарело. Применяя терминологию Шпенглера, можно сказать, что он считал неизбежным торжество цивилизации над культурой, т.е. — смерти над жизнью.

Ницше произвел бы сильное впечатление на К. Леонтьева (и обратно). Но Леонтьев осудил бы оптимистический имморализм Ницше в политике. Он осуждал также религиозный оптимизм Достоевского. Исходя из Апокалипсиса, он находил, что Достоевский исповедует «розовое христианство», и, «подобно великому множеству европейцев и русских всечеловеков, все еще верит в мирную и кроткую будущность Европы». Ему претил любой оптимизм.

Но не будем углубляться в творчество «византийца» К. Леонтьева, который, по признанию Бердяева, а также Розанова — будучи консерватором, был вместе с тем одним из самых свободомыслящих русских мыслителей. Вот диагноз К. Леонтьева: Европа стара, устарела; положение Европы, которую «прогресс» ведет к смерти — безнадежно. Но следует искусственными мерами задержать приход смерти; и он прописывает смертельно больной Европе — абсолютный покой в консервной банке традиций.

Шпенглер считал, что этот покой (в смысле творческом), так или иначе наступит. Он писал о наступлении (после 2200 г.) в Европе эпохи, которую характеризовал, как эпоху египтизма, мандаринизма, византизма.

Но у Шпенглера не находим апологии неподвижности, консерватизма; он лишь констатировал факты. Эту апологию находим у К. Леонтьева. По его убеждению,

торжество цивилизации есть торжество смерти. Но его идеал неподвижной, замороженной России, а также Европы — есть тоже царство смерти. Он защищал эту консервацию во имя жизни; он хотел отсрочить гибель; и надеялся, хотя бы на короткий срок, сохранить столь восхищавший его образ, облик старой Европы — монархической, христианской, индивидуально пестрой и на верхах и на низах. Может-быть — это зрелище неподвижной, застывшей старой Европы, — болше прекрасно, чем серая панорама цивилизации. Но если равенство — признак смерти (по К. Леонтьеву), то неподвижность — тоже признак смерти.

Если возможна апология неподвижности, покоя, то это будет не апология жизни, а — смерти.

Жизнь всегда движение, начало чего-то, а смерть — неподвижность, конец.

Когда человек полон творческих сил — он не хочет смерти, потому что ему чего-то не хватает, и он тогда чего-то добивается. Но если временное, земное уже не соблазняет — в качестве материала, сырья — что же остается? — Одна смерть, конец; и в таком случае конец (но не обязательно — любой конец) — не только неизбежен, но и желателен.

Желать смерти — признак усталости, пресыщенности. Но не всегда: иногда конец есть нечто желанное, не потому, что сил нет, или все безразлично, а потому, что сил еще много, но больше не соблазняет дурная бесконечность жизни: завоеваний и жертв, захвата и отдачи, постоянного обмена веществ; и вот хочется все, что есть — кому-то окончательно, вполне отдать — *ausgefüllt sein* (Goethe).

Иногда мыслящим людям современной Европы кажется, что они очень беспомощны в мире классово-расовой ненависти. Это так... Но интеллектуальная Европа — если и слаба, то не бедна, а богата; она помнит заветы христианства и гуманизма — и в этом ее богатство; она помнит две истины: что каждый человек ценен для Бога, ибо сотворен по образу и подобию Божию, и что

каждый человек ценен сам по себе, как самоцель (Кант); она помнит эти две истины, хотя плохо верит в них. Но память — тоже своего рода сила: память освобождает от власти времени, как доказал величайший современный художник слова — Пруст; и память обязывает. Если нет веры, нужно помнить о тех, кто верил, боролся, строил, о наших духовных предках; и нужно их достойным образом похоронить.

Память имеет необыкновенную емкость, и ее можно умело расширять, но она — не гарантирует бессмертия. Память прерывается смертью, также как ее обладатель — живой человек; но память может пережить смертного человека, если этот последний сумеет ее воплотить: в памятнике.

Европа верила, творила, любила, ненавидела, страдала, веселилась: и теперь, перед концом, должна сама себе поставить памятник, воздвигнуть александрийский столп *in memoriam* своей культуры, своей жизни: это тема, это задание.

У современного европейского *intellectuel* нет вкуса к духовным завоеваниям новых Америк и Индий духа; но он еще не выполнил своего последнего долга — перед прошлым. Он обречен, но у него еще есть дело: и для выполнения этого дела необходима длительная, напряженная, вдохновенная работа — годы мучительного и вместе с тем радостного труда.

Старой — христианской и гуманистической Европе еще рано умирать: необходимо отсрочить ее гибель на несколько десятилетий; сохранить ее.

Новое варварство не обновит сил — как думал Ницше, который тоже, ведь, не безоглядно, не без сомнений возлагал надежды на одичание: «Если Европа окажется в руках толпы, европейской культуре — конец. Борьба бедных и богатых. Это последняя вспышка. И тогда нужно спасать, что еще можно спасти».

Современные европейские варвары — тоже старые, тоже нервные, тоже дети электрического века, т.е. позд-

него века, также как *intellectuels*, которых они так ненавидят.

Нужно задержать варваризацию, но не во имя жизни, разнообразия, эстетики — как хотел К. Леонтьев, а для того, чтобы подготовиться к смерти и — поставить памятник. Люди сами себе памятников не воздвигают, но культура должна завершить свое развитие памятником, ибо у нее нет близких, родных и друзей, которые могли бы позаботиться об этом.

Если больше нет связи с вечным, с Богом, нужно ждать: и воздвигнуть Европе — великой и богатой, монумент, который переживет нас, и будет ждать после нас, за нас: будет ждать неизвестного Завершителя, который сотрет последний след о нас, о нашей Европе — или удостоит ее вечности, вечного блаженства или вечных мук. Но, может-быть, этого Завершителя — нет, нет и не будет? — Весьма возможно. Но попытаемся сделать, что можем. Самый прочный памятник — не вечен, но ждет вечности и долгодетнее нас.

Александрийская библиотека, византийский ритуал богослужения, китайская азбука — вот надгробные памятники культуры, ею самой воздвигнутые: и много сил, много любви и вдохновения было потрачено на создание их.

Европа должна позаботиться не только о надгробном памятнике, или вернее памятниках, но также — о кладбище (и возможно дольше охранять его от осквернения).

Византия — после окончания великих религиозных распри, уничтожения последней значительной ереси — иконоборчества, после так называемого торжества православия в 842 году, тоже была кладбищем — кладбищем духа; в продолжение шести веков, вплоть до своего падения в 1453 году — Византия находилась в оцепенении; творческого развития больше не было, но она сумела — за эти века — создать тот совершенный, но трагический образ — памятник византизма, который до сих пор до конца не понят и ждет ответа.

В праздник Воздвижения честного и животворящего Креста в православных церквях облаченный в золотой саккос архиерей, напоминаящий базилиевца, пятикратно подымает крест при пении — «Господи помилуй!» и пятикратно склоняется с крестом ниц: это и есть видение Византии, торжественно-величественной, золотой, богатой, но внутренне-смирненной, нищей духом.

Варварская цивилизация в конце концов восторжествует, как предрекали К. Леонтьев и Шпенглер. Но еще нет совершенного, всеобъемлющего, трагического образа Европы: и чтобы создать этот образ, нужно застыть — если не на шесть веков, то хотя бы на шестьдесят лет. Все, что в Европе теперь выдает себя за нечто новое в творческом смысле, да и в любом смысле — сомнительно: мифы XX века — мифы коммунизма и фашизма — это белила и румяна, при помощи которых Европа хочет вернуть то, чего нельзя вернуть — молодость. Всякий футуризм в искусстве и политике, все мечты о создании лучшего будущего, «нового мира», мечты, которые требуют жертв, непосильных для старческого, изношенного организма — преступны. Чтобы жертвовать и требовать жертвы, необходимо наивное сознание своей правоты; а этого сознания — нет; и поэтому так отвратителен, фальшив наигранный энтузиазм современной обманутой, несчастной толпы. Для европейского *intellectuel* должно быть ясно: все, что стремится выдать себя за «новое» в наше время (и порывает с традицией), есть стилизация варварства, жалкая игра в дикость, которая просто смешна, неприлична, и является признаком дурного тона.

А как же *Durchschnittsmensch*? Что же он? Неужели он не скажет, наконец, что не желает быть кроликом для опытов Павловых в политике, для испытания идей надклассового общества и чистой расы? И что желает одного: чтобы идеологическое, тоталитарное государство оставило его в покое; но — был бы прочный порядок, которого не могут обеспечить парламентарно-демократические государства.

У современного европейского человеческого мате-

риала, пушечного мяса — нервы слабые, слишком расшатанные — индустрией, темпами электрического века: и борьба, к которой призывают носители сомнительной, искусственно культивируемой *Wille zur Macht* — не по силам обывателю, *Durchschnittsmensch*'у европейского материка; но строй демократических, либеральных государств — тоже не для него: свободная конкуренция при сложности современного мирового и народного хозяйства не обеспечивает сносного существования, маленького счастья.

Пусть будет «лозунгом» для современного *intellectuel* — все творчески «новое» — неприлично, а для обывателя — все «новое» в политике (большевизм, фашизм) — опасно, и тогда, может-быть, он вспомнит призыв несчастного австрийского канцлера: *Dreimal Oesterreich!* (трижды Австрия!) и найдет силу и волю — для участия в построении целого, которое условно назовем австрийской Европой: это будет Европа не тоталитарная и не либеральная, а основанная на христианских и гуманистических традициях, которые должна поддерживать сильная, авторитарная, просвещенная власть. Нужно работать над созданием идеологии нового просвещенного абсолютизма.

Пусть будет, на некоторое время, тихо в Европе, у которой еще достаточно сил, чтобы отразить желтую опасность и держать в подчинении цветные народы. Пусть будет тихо, как на кладбище или как в музее, или в долгий зимний вечер у камина: и вот несколько поколений маленьких людей будут наслаждаться тихим семейным счастьем, спортом, кино, радио, а *intellectuels* займутся постройкой памятников, под которыми будут зарыты богатства европейской культуры; это завершение, эпилог; но последнее слово, как всегда, не за нами, не — за человеком, а за Богом, в Которого не верим, но Которого хотим. Старец может быть атеистом, но редко гордится своим безбожием и хочет верить.

Говорят, дурак, осознав свою дурность, делается умником. Может-быть, также: мертвец ожил бы, поняв, что он мертв?

Мы должны понять, что в духовном, да и в физическом смысле — мы полумертвецы: и нам нужно осознать этот «факт»; и тогда мы обречем замысел, найдем дело, задачу; и найдется сила, пафос для исполнения этой задачи; но только — ничего слишком нового, ничего — слишком! Иначе распадемся на составные части.

Юрий Иваск.

Печеры, 1938 г.

## К смерти или к славе ?

Читатели «Нового Града», вероятно, удивлены — а, может быть, и возмущены, — прочитав статью Ю. Иваска. Действительно, трудно придумать что-нибудь более чуждое нашему духу, чем эта философия реакции, воспитанная на К. Леонтьеве, но оставляющая и его далеко за собой. И Ницше, и К. Леонтьев, и Шпенглер для Иваска все еще слишком оптимисты. Ницше верил в обновление варварством, Леонтьев защищал консерватизм во имя жизни: богатой, прекрасной, хотя и жестокой жизни. Иваск впереди не видит ничего, кроме смерти, и смерть призывает. Кажется, никогда еще дух реакции не выговорил себя до конца с такой откровенностью. Может-быть, Победоносцев таил про себя такие думы. Но и у Победоносцева была вера.

Зачем же тогда «Новый Град» принял его статью? По многим основаниям, из которых главное — необходимость ответа. Такую статью нельзя просто бросить в редакционную корзину или отослать автору. Необходимо ответить по существу. Редко представляется возможность говорить о главном. Главное кажется решенным раз на всегда, и публицисту остается разрабатывать детали. Но время от времени необходим полный пересмотр позиций — генеральная чистка дома.

Мне не раз приходилось жаловаться на то, что скудость реакционной мысли в эмиграции является несчастьем для русской культуры: реакция вся уже выговорила себя в XIX веке. Но вот, оказывается, не вся. Мысль Леонтьева продолжается творчески и требует ответа.

Второе основание для дружеской беседы с противником — скорее морального порядка. Поскольку в статье Ю. Иваска просвечивают внутренние, определяющие мотивы его мирозерцания, они вызывают наше сочувствие. Тут говорит не эстетический снобизм с его «*odi profanum vulgus*». Тут и не озлобленность потрясенного революцией буржуа. Потрясённость его более благородного порядка. Зрелище торжествующей черни и ее демагогов, топчущих драгоценное наследие гуманистической культуры — вот что приводит Ю. Иваска в отчаяние. О чистоте его духовного зрения свидетельствует уже то, что он не делает различия в своем отталкивании между коммунизмом и фашизмом: оба одинаково несут смерть его святыням. Эти святыни — не знаю, впрочем, точно ли те же — дороги и нам. Мы вместе с ним исполнены острой тревогой за судьбу любимой нами Европы и ее древнего, антично-христианского гуманизма. В отличие от Ю. Иваска, мы не потеряли веру в будущее. Тем больше оснований протянуть ему братскую руку и напомнить о надежде. Он еще молод.

Сменит не раз младая дева  
Мечтами легкие мечты,

и не раз юноша повернет, как трубку kaleidoscope, свое видение мира, пока оно не придется окончательно по мерке, по его духовному росту и складу.

\*  
\*\*

Начнем с вопроса «частного», но для нас довольно остро: ибо дело идет о нашем историческом существовании. Правда ли, что европейская культура умерла, или умирает, и нуждается только в погребении? Если умирает, то

отчего: от перехода ли в демократическую цивилизацию и всеобщего поравнения, как думает Ю. Иваск вслед за своими, очень авторитетными, предшественниками?

Я не отрицаю тяжелой болезни нашей культуры и возможности ее смертного исхода. Но я расхожусь в диагнозе и, следовательно, в выводах.

Да, действительно, процесс культурной демократизации, когда он протекает столь стремительно, как в наши дни, — несет с собой тяжелые последствия: варваризацию (дурную), упрощение, нивелировку. Все это верно было подмечено еще в глубине XIX века — одним из первых Ничше (и Леонтьевым). Но этот процесс мне представляется вторичным, лишь осложняющим. С ним можно справиться, как с процессом роста. Всегда мыслимо создание новой элиты в самом демократическом обществе, которая поднимет достоинство культуры.

Замечательно, что, ведь, главные удары по гуманизму наносятся не массами, а изменниками из рядов самой утонченной элиты. Для меня это прежде всего: Маркс, Ничше, Пикассо, Стравинский. Так бл. Августин предавал Платона («*pecus mortuum*») среди обступающего моря варварства. Да, ведь, и гитлеровское движение не из рабочих масс идет, а скорее из университетов. Во всяком случае, философская подготовка его — дело далеко не последнее и для немецкой культуры более позорное, чем современная пляска людосдов.

Не легко сказать, в чем основной недуг Европы. Но, если надо обобщать множество болезненных процессов, то я скажу: в разрыве духовного единства, в потере стиля — нравственного, художественного, социального. Великолепная культура эта грозит распасться на куски, взорваться и сгореть в мировом пожаре. Но эта огненная смерть ничуть не похожа на медленное умирание дряхлеющих культур: Египта, Рима, Византии. Ю. Иваск загнипнотизирован схемами Шпенглера. Трудно не поддаться этому историческому чародею. Но надо уметь и преодолевать его. Его схема в основе своей биологична. Она предполагает вечное круговращение: культуры подобны растениям, пере-

живающим свои фазы роста и увядания. Остережемся принимать его построение на веру. Взглянем непредубежденными глазами на то, что делается вокруг нас и сравним с единственным известным нам в опыте процессом умирания культуры от дряхлости: с падением античного мира.

Древняя Греция уже в V-IV в.в. до Р. Х. выработала основные формы своей мысли и своего видения мира. Стиль, сложившийся в эпоху Перикла, в сущности держался и при Константине: 700 лет! Последние греческие и римские поэты не устают подражать Гомеру и первым лирикам: Алкею, Сапфо.. Еще поразительнее неподвижность Египта, который уже в древнем царстве, за 3000 лет до Р. Х., сложился окончательно, чтобы жить, сохраняя свой стиль, до птолемеевского времени: 3000 лет! Кажется, что у Ю. Иваска зрелище такой верности и постоянства вызывает почти религиозное благоговение. Но почему? Не потому ли, что оно так непохоже на нашу современность, раздираемую противоречиями? Где он, тот стиль, которому верность можно хранить, последний стиль христианской Европы? Стиль Ренессанса владел ею дольше других: в искусстве и науке он держится — это Рафаэль и Леонардо — около 400 лет. Им, его обрывками и лоскутками и сейчас живут еще массы, приобщающиеся к культуре. Но этот стиль не то, что себя исчерпал, — он доказал свою неадекватность христианской душе Европы. С самого начала он был полудязыческой маской, скорее искажившей, чем выразившей европейское лицо. Из глубины веков вставляли великие образы средневековья, но мятущиеся, — стили, но разные. Куда возвращаться? Что консервировать?

Если остаться с Россией, тут та же драма. Последние 200 лет — непрерывная революция духа, создавшая самое великое в нашем наследии. За ней, в прошлом, как будто бы единство стиля, но почти без культуры, или в таких примитивных формах ее, в которых уже невозможно жить.

Более, чем когда-либо, Европа бьется в поисках нового стиля — не из пустой страсти к новизне, не из легкомысленного омолаживания, а просто потому, что никакого старого стиля нет, а без стиля ей не жить. Как бы ни

оценивать современное искусство и его формы (я больше страдаю от него, чем радуюсь ему), нельзя ни в коем случае жаловаться на скудость творческих сил. Точнее, энергий. Поразительно, чудовищно расточение этих творческих семян в наше время. Оно подобно рассеиванию цветочной пыли в пространстве, — хотя я первый готов признать неудачу, бесплодие. Но эта неудача проистекает не из отсутствия творческих сил, а из отсутствия единства в личности творца, единства в его традиции, в его ремесле. Если каждый художник должен заново создавать свой мир из ничего, понятно, что эта задача не по плечу — даже Шекспирам. Не построить свой мир, а разрушить мир данный — Богом, традицией — вот высшее честолюбие мастера наших дней. А сил хоть отбавляй! Сейчас, например, английская литература переживает расцвет, которому равного, может-быть, не знала со времен Елисаветы. Если рассматривать только мастерство, только зрелище и выразительную способность таких писателей, как Сири или Вирджиния Вульф, то они могут сравниться с самыми большими мастерами прошлого. Да, наконец, это прошлое — великое и классическое — от нас так близко. Ведь, дети Толстого еще живы. По хронологическим схемам Шпенглера мы должны бы жить еще в Перикловом веке. Но, и отбросив эти схемы, возможно ли, чтобы культура, которая еще вчера, в прошлом поколении, давала величайших своих мастеров, вдруг состарилась, в одну ночь? Не старость это, а безумный кутеж и сопровождающее его похмелье. Или серьезнее: Европа еще так молода, что похожа на юношу, который прижимает к виску пистолет, потому что потерял веру в Бога.

Наконец, оглядываясь вокруг, в Европе XX века, мы тщетно ищем этих последних римлян, разочарованных мудрецов, мечтающих о покое и досуге. Конец XIX века «fin de siècle», дал нам нескольких декадентов типа Анатоля Франса. С тех пор мы что-то их не встречаем. Скептицизм оказался не более, чем гримасой, легкой усталостью между двух трудовых и боевых дней. Европа «омоложается». Но это делают не одни коммунисты и фашисты.

Выход на улицу, для строительства Нового Града — это общее явление. Христиане, католики, вчерашние аристократы-академики, замкнувшиеся в своих *tours d'ivoire*, все спешат в бой. — Очень дурно, говорите вы вместе с Жюльеном Бенда и со Стефаном Георге. Я не оцениваю, я указываю. Разве это не говорит скорее об избытке сил, хотя бы душевных, если не духовных, чем о их оскудении? Когда умирал Рим, Авзоний и Сидоний Апполинарий пальцем не пошевельнули, чтобы спасти его. Уход в монастырь был единственным исходом для сильных; для людей второго сорта оставались упражнения в версификации, успокаивающие нервы.

Но это пустое, не творческое волнение, говорите вы. Оно не создает великого. Но почему? По бессилию ли или по необъятной трудности задачи: собрать распавшийся на части мир? Во-всяком случае, в любом из неудачных, обреченных созданий сегодняшнего дня больше жизни, чем в целых веках доживающих себя цивилизаций.

Безвкусице? — но как раз оно и говорит о неисчерпанности жизни. Ибо безвкусице проистекает от утраты стиля и предполагает поиски его, борьбу за стиль. Лишь самодовлеющее совершенство, изящное и мудрое эпитонство (к которому вы призываете) означало бы действительно *facies hyppocratica*. Но я нигде его не вижу.

Само собою встает вопрос: а может-быть, это чувство конца, исчерпанности, безнадежности вытекает не из опыта Европы, а из опыта России? Да, наша культура неизмеримо более хрупка, тонка, и перспективы не из вельных. Есть от чего сломаться, возжаждать смерти. К тому же, ведь, мы, действительно, стары, не чета Европе: наследие Византии не проходит даром. Ее яд мы несем в крови, а за Византией, в глубине веков, встают все древние царства Востока, ее вскормившие: Персия, Вавилон, шумерийские сумерки. Да, если шумерийские заговоры и приметы живут до сих пор в русском фольклоре, то и шумерийское священное царство доживало в русском самодержавии. И вот, при всей нашей славянско-финской молодости, эта тяжелая восточная кровь порой нас разла-

гает. Мы не стойки в нашей культурной работе. Мы дезертиры по природе. Мы только и ищем предлога, чтобы удрать с своего поста. Для одних спасительным сигналом к бегству является пришествие Антихриста (поразителен успех Соловьевской легенды!), для других приговор над «изжившей» себя культурой. Русский Обломов еще 100 лет тому назад с жадностью внимал этим слухам, дававшим ему право на незаслуженный отдых от несовершенных трудов. Надо остерегаться этой иллюзии и не принимать своей дурной (но победимой) наследственности за норму человеческой жизни.

\*  
\*\*

Теперь о памятнике. Если бы мы согласились на минуту с Ю. Иваском в обреченности Европы и в преступности творческих усилий, какому делу можно посвятить остаток еще не изжитых сил? Он предлагает — в 60 лет — построить нетленный памятник великому покойнику, по типу иных памятников истории: Александрийской библиотеки, византийского ритуала, китайской азбуки. Вдумаемся в это предложение. Ни то, ни другое, ни третье не создавалось в финале под опускаемый занавес. Все это рождалось или в творческом зените или даже в юности культуры. Но можно спросить себя, неужели это — т.-е. библиотека, ритуал, азбука — и есть подлинный памятник греческой, византийской, китайской культуры? Оставим Китай и Византию для любителей: тут о вкусах не спорят, т.-е. именно спорят: для одних живопись, для других философия, для третьих азбука. Но кто серьезно согласится с тем, что Греция жива в веках Александрийской библиотекой?

Библиотека эта давно не существует. Каковы бы ни были ее культурные заслуги, не ей одной мы обязаны тем, что до нас дошел Гомер или трагики. И уж, конечно, не ей — сохранением греческого искусства. В конце концов, от Греции остались «на век» десяток книг, созданных в юности. От нас останутся тоже... не знаю, кого назвать: Шекспир, Паскаль, Толстой..., а не то, что успеют создать

последние пилифовщики и стилисты. Авзонии ничего не прибавят к римской славе. Нечего просить отсрочки смертного приговора, чтобы в последний раз привести в порядок навсегда покидаемый дом: составить инвентарь все равно подлежащего расхищению добра.

Мне кажется, что в этом желании еще помедлить перед смертью на родном пепелище говорит малодушие. И когда Аника-воин перестанет торговаться со смертью: один день, один час, одну минуточку? Как будто достойнее оторваться от кубка жизни, пока он не допит до дна, до горького осадка. Вот почему те римляне V века, которые шли в монастырь, достойнее тех, кто играл в акростихи:

En composant des acrostiches indolents  
D'un style d'or où la langueur du soleil danse...

Не говорю уже о том, что в монастырях и пустынях собирались те огромные духовные силы, которых хватило и на воспитание варваров и на строительство новой, еще более грандиозной культуры.

Отсюда как будто бы следует: что в предсмертные годы и дни не стоит заниматься пустяками, а нужно жить самым главным. И если нет его, этого главного, то не уставать искать. Августин нашел, ведь, и для себя и для всего будущего «Запада», как раз в последние дни Рима.

\*  
\*\*

Я хотел бы поставить тут совершенно вводный вопрос: кто и когда доказал, что все культуры смертны? Перестав верить в закон прогресса, мы в настоящее время легко делаемся добычей всякой шпенглерианы. Биологический взгляд на культуры обрекает их на умирание. «Все, что возникает, стоит того, чтобы погибнуть». — Все ли? Нет ли исключений?

Я согласился бы на допущение смерти всех культур — кроме одной (если мы допустим существование такой культуры): культуры христианской.

Всякая культура умирает, исчерпав свою творческую гему и найдя свой навсегда завершающий стиль. Но какова творческая тема культуры христианской? — Быть образом Царства Божия на земле. Не символом — сакральным, ритуальным, а образом движущим, реально приближающимся и никогда не достигающим — чего? небесного совершенства Отца. Слишком высокий идеал задан христианскому обществу, чтобы оно могло его когда-нибудь осуществить. И потому ему не угрожает смерть от истощения, от пресыщения. Конечно, мы видели гибель христианских цивилизаций: Рима, Византии, других. Но, может быть, их смерть явилась карой за измену реальному динамизму христианского идеала. Римское и греческое царство слишком легко успокоились на символическом освящении. Или, быть может, вообще не приняли для себя (для политического общежития) христианского идеала, застыв в язычестве. Погиб не христианский Рим, а Рим языческий, как это видел Августин. Что толку было в христианском (впрочем, полуязыческом) ритуале, когда ничто (в общественных отношениях) не сдвинулось с места?

Я хочу сказать: гибли и будут гибнуть христианские культуры. Но всякий раз должны быть особые причины их гибели. Это грѣх, а не рок. Христос отменяет рок и дает нам свободу. И свобода во Христе означает бесконечные возможности, бесконечную силу. Социальная природа не подвластна физическим законам тления. Она отражает в себе не законы, а события духовного бытия. Есть, бесспорно, социальные закономерности. Но они торжествуют лишь благодаря слабости духовных энергий. Социология есть лишь феноменология греха — или косности, что одно и то же.

Но всегда, на дне всякого падения и на ложе всякого сна возможно пробуждение, потрясение, пророческий голос, зовущий в путь. Поразительна способность христианских возрождений, которые поднимали Церковь из ее современного усыпления: реформация, романтизм, наши дни.

И, наконец, даже если силы греховной инерции одо-

леют, и одно христианское общество (Византия, Рим) погибнет, чтобы дать место другому, связь не порвется, живая, священная связь традиции, несравненно более могущественная в Церкви, чем та всеобщая связь, которая единит все мнимо-изолированные культуры мира. Византия живет в православной литургии, в русских святых и иконах. Это не чужое нам, а свое. Как и древний христианский Рим. И поэтому, поскольку нет религиозного прерыва, замены (как в потуречившейся Сирии или Египте), нет и настоящей культурной смерти. А катастрофы, конечно, тяжки, для нас, переживающих их, — но они лишены трагической безысходности.

\*

\*\*

Если я прав, что наша культура погибает не от скудости, а от чрезмерного богатства неорганизованных, разрушающих ее сил, то вся культурная и политическая установка становится иною. Не хранить и консервировать (что?), а стараться организовать хаос, победить смерть — во имя жизни. Организовать хаос можно лишь вокруг великой Идеи, которая указала бы всем вырвавшимся на свободу энергиям их русла. Если этой Идеи нет, ее надо искать. В терминах эстетических, близких Леонтьеву и Шпенглеру, если нет стиля, надо его создать. Это единственное условие, единственная возможность жизни. Но за то уже тогда не на 60 лет, а может быть, на тысячу. Эта борьба за Идею или за стиль требует величайшего творческого напряжения — и, конечно, является в духовном смысле, революционной, ибо предполагает устремленность к неизвестному. Меньше, чем кто-либо, мы, новгородцы, отказываемся от традиций. Мы готовы искать где-угодно в прошлом материалы, которые могут пригодиться для постройки. Но мы не забываем, что это лишь материалы. Прошлое не может дать нам стиля, который создается лишь из творческого усилия. Говорят, что Микель Анджело был создателем барокко. Столетия могли жить формами, созданными им, за счет его титанического напряжения. Так мы все еще живем Пушкиным, дышим им, не



замечая его, как воздухом. Можем ли мы надеяться на рождение Пушкина или Микель Анджело вь наши дни? Почему нет? Может-быть, гении все еще появляются на нашей земле (я едва удерживаюсь от искушения называть имена), но они сами себя разлагают и убивают безверием. Но рождение веры есть чудо. Чудо благодати и свободы. В том, что касается свободы (мы не августинисты), мы несем обязанность — искания, усилий, борьбы. Это установка прямо противоположная Ю. Иваску. «Борьба за Логос». То-есть не за вечный, уже открывшийся нам Логос, а за Логос нашей культуры, за ее смысл, за очередную исторический ее смысл. И, если наши усилия будут чисты, наши искания самоотверженны, почему не надеяться на чудо, которое, ведь, и составляет тайну истории, тайну всякой духовной жизни? Чудо — всякая жизнь, закономерна лишь смерть. Мысль, отдавшаяся в плен закономерности, подчиняется смерти. Или, может быть, потому и пленяется закономерностью, что уже возжаждала смерти?

\*  
\*\*

Статья Ю. Иваска кончается почти криком отчаяния. «Бог, в которого не верим, но которого хотим!». Это многое объясняет. Может-быть, эта жажда веры и вместе с тем невозможность ее и вызывает ощущение смерти? Вся культурная и общественная борьба кажется бессмысленной, да она на самом деле бессмысленна, если нет Бога. Тогда дело не в бессилии нашего поколения. — Ю. Иваск чувствует и в себе и в культуре еще не растраченное богатство сил, — а в бесплодности и тщетности усилий. И здесь нет места легким утешениям. Человека, который сказал о Боге то, что сказал Ю. Иваск (если он сказал это серьезно) не прельстишь никакими культурными достижениями. Позволительно лишь прибавить, что такого человека не удовлетворит и работа над памятником. Менее всего, над памятником. Дайте ему покой, досуг и австрийский мир, и он загоскует в своих александрийских библиотеках. Даже в византийском ритуале. Что проку в литургии-

ческой красоте без Бога? Насколько честнее откровенное безобразие!

«В которого не верим, но которого чтим». Эта формула состоит из двух частей, и, если вторая столь же серьезна, полновесна, как и первая, то безнадежность уже снимается. Как? Этого мы знать не можем. Но мы слышали *vox clamantis*. И тогда все меняется. В сущности, если начать с этой формулы, а не кончать ею, то статья Ю. Иваска не могла бы быть написана. Ибо хотеть Бога — значит хотеть жизни, а не смерти. В огне этого хотения сгорает вся музейно-кладбищенская красота, соблазнительная для А. Франсов, для мертвецов. Конечно, мертвец, или полумертвец, не оживет от сознания, что он мертвец. И сам не воскресит себя. Лишь Один, воскресший Мертвец — «Первенец мертвых» — воскрешает.

Г. Федотов.

## Идеи и жизнь

### ПИСЬМА НЕМЕЦКИХ ПАСТОРОВ ИЗ ТЮРЬМЫ

В прошлом году в Германии распространялась небольшая книжка, в которой были собраны письма немецких пасторов, заключенных или в тюрьмах или в концентрационных лагерях. Книга эта была напечатана нелегально и предназначена лишь для строго конфиденциального обращения, — около 20.000 экземпляров разошлось по рукам. Тайная полиция, узнав об этом конфисковала книгу. Из 20.000 экземпляров лишь 20 удалось избежать конфискации. Два из них попали в руки английских путешественников. «Студенческое Христианское Движение» выпустило английский перевод этой книги, выполненный Доротеей Франсис Вексток, с предисловием еп. Ливерпульского, под заглавием: «I was in Prison. Letters from German pastors». По причинам достаточно ясным, разрешения на перевод у немецкого издателя просить не приходилось. Английский перевод имел такой успех, что с сентября по декабрь 1938 года разошлось четыре издания. Мы полагаем, что перевод нескольких отрывков из этих писем мог бы заинтересовать читателей «Нового Града». Каждый из нижеследующих абзацев извлечен из письма одного заключенного пастора, каждый новый параграф соответствует новому письму. Мы не имеем возможности, конечно, указать ни имен автора и адресата, ни места составления письма, но мы ручаемся за подлинность этих писем, каждое из которых прошло через цензуру тюрьмы или лагеря, откуда оно было отправлено. Эта цензура объясняет, почему о многих вещах в письмах умалчивается. Но и того, что сказано, достаточно, чтобы вызвать наше внимание и даже восхищение. Но предоставим слово самим заключенным:

«Для вас, должно быть, было тяжелым потрясением увидеть, по возвращении со школьной экскурсии, как вашего отца ведут в тюрьму. Мне было очень жаль вас, особенно беднягу Б., который так плакал! Но не нужно терять голову, так как вы хорошо знаете, что ваш отец не сделал ничего дурного: он всего лишь солдат в той тяжелой битве, которую Церковь Иисуса Христа должна теперь вести... В школе будьте молодцами и не теряйте бодрости; удвойте вашу энергию в работе и старайтесь сделать счастливой вашу мать... велосипед и

прогулки будут вам на пользу... Я счастлив, что в детстве меня воспитали в строгости и простоте и приучили к маленьким лишениям всякого рода».

«Вчера я получил письмо, в первый раз со времени моего ареста... Твой привет всего дороже для меня... Я положил твою открытку в мою Библию. Чудесно читать Библию в такие минуты. Как она вдруг становится живой и реальной! Поистине, она создает впечатление, что написана для заключенных».

«Вторую неделю я жду, что отворится дверь моей тюрьмы... Я сам удивляюсь той веселости, которую я чувствовал за эти недели. Это от Господа, и это ответ на мои усердные молитвы... Никогда я так не молился за моих братьев и сестер, за каждого в отдельности, кто бы они ни были, как в эти темные дни, когда ночь в моей камере начинается уже в три часа».

«Не могу тебе сказать, в какой мере я благодарен за то, что мне дано было испытать в эти последние дни. В таком положении присутствие Божие становится теперь драгоценной реальностью».

«Напоминаю вам то, что я говорил в конце моей проповеди: те, кто доверятся Господу, обретут свои силы; они подымутся на крыльях подобно орлам (Исаия 40, 31). В гнезде орлы — самые неловкие существа; но во время бури самые свободные и гордые... Сегодня Бог выбросил нас из наших укрытых гнезд, из всех гнезд земной обеспеченности и человеческих планов... Есть одна сила, которая нас поддерживает; нас несут вечные руки Бога Отца; они поддерживают нас в буре».

«Я постараюсь держаться стойко до конца, физически и духовно... Я не один, я уверен в близости и присутствии Бога живого, может быть, по причине тесноты моей камеры... В часы бессонницы близость Божия становится для меня почти физически ощутимой... Разные надписи на стенах моей камеры указывают на совершенно иное состояние духа у ее обитателей. Они говорят о страшных днях агонии, которые они провели здесь. Другие надписи говорят о революции и о возмездии. Как все меняется, когда ты христианин! Ты свободен и от отчаяния и от политического озлобления... Вспоминаешь постоянно слова, которые из своей римской темницы Павел писал филиппийцам: «Всегда радуйтесь о Господе; и еще говорю: радуйтесь!».

«В разные периоды моей жизни я страдал от упадка духа. Теперь ничего подобного. У меня были жестокие боли в спине и в боках от жесткости кровати. Но даже в долгие ночи я был радостен и благодарен — чудо в моих собственных глазах! Я могу его приписать только Богу, который слышит мои собственные молитвы и молитвы других за меня».

«То, что ты мне принес, мне очень пригодилось... Скажи прихожанам, что я постоянно поминую их пред лицом Господа... Солнце, которое радостно сияет надо мною — Господь мой Иисус Христос».

«Я читаю новозаветные послания, которые были написаны в темнице. Какая в них радость и сила!... Мы боремся, страдаем и молимся за Церковь и ради служения Ей — против немецкого общественного мнения. Какое странное обещание дано нам в Слове Божиим и в молитве!... Люблю то, что сказал Лютер: «Слово Божие и молитва христиан поддерживают мир»... Чего я только прошу у вас, это чтобы вы широко открыли ваши сердца, ибо наше горе — горе всей Церкви».

«Я живу со среды в совершенно новом и непохожем мире, — в мире, в котором к тому же скрыто нечто очень интересное, и даже прекрасное и возвышающее. Хорошо для нашего ветхого Адама оценить еще раз сухой хлеб, быть лишенным возможности курить, и слышать обращение на «ты» от уголовных арестантов».

«Вчера я думал, что меня освободят. Я уже видел все в розовом свете. Но да будет воля Божия... Я встаю каждое утро с благодарной радостью, и с такой же радостью ложусь спать. И всегда она на заднем плане — великая, настоящая радость — мысль о том, что когда-нибудь я тебя увижу! О, сердце, не волнуйся! Обратись к Богу».

«Есть одна вещь, в которой я уверился за последние недели: в том, что дело идет не о нашем деле, но о деле Господа нашего Иисуса Христа... Я только теперь отдал себе отчет в значении того места Деяний 24-27, где написано, как о чем-то совершенно естественном, по поводу ареста Павла в Кесарии: «Через два года»... Как будто два года не имеют значения! Ну, значит, так и есть, два года не будут иметь значения. Но крайней мере, слово свободно; никакие засовы его не остановят, — никто не может остановить его».

Этих цитат достаточно. Мы не прибавим к ним никакого личного комментария. Единственный комментарий, который здесь был бы уместен, это слова из Нового Завета. Например, те слова Деяний, где рассказывается о заключении ап. Павла: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; и заключенные их слушали». И еще другие слова самого Христа: «Я был в темнице»... Слова, на которые отвечает «посланный в оковах», тот же Павел, когда он пишет: «Но слово Божие не оковано».

Иеромонах Лев (Жилле).

## ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОСЛЕ МЮНХЕНА

Говоря об идеологических течениях, наблюдаемых среди представителей передовой интеллигенции Франции, нам не раз приходилось отмечать их положительные и отрицательные черты: с одной стороны, чрезвычайную духовную устремленность и социальную динамику этих течений, с другой стороны — некоторую схематичность, отвлеченность, оторванность от реальной жизни.

Казалось, социально-политическая и социально-религиозная мысль Франции, с такой чуткостью и порывом отзывавшаяся на все основные проблемы, связанные с судьбами человека в послевоенном мире, еще во многих случаях не являлась окончательно созревшей. Недаром, касаясь созданного им движения, Эммануэль Мунье, редактор «Esprit», как-то писал, подводя первые итоги деятельности своей группы, что ей еще предстоит пройти через весь «хаос искусства», что идейная закалка еще далеко не готова, «сплав еще не найден». 1).

Можно даже сказать, что лучшие молодые силы Франции весьма остро ощущали эту незавершенность. Они томилась чувством, что все их социальные и идеологические системы: «персонализм», «коммунизм», «фронтизм» и разного рода «технократии» и «планизмы», — все эти конструкции воздвигались в порядке заманчивых, но отчасти искусственных стилизаций, развивались в каком-то безвоздушном пространстве.

Новому послевоенному, социальному, политическому и духовному сознанию Франции предстояло еще пройти через искус, через горнило реальных кризисов и событий: этим горнилом оказался Мюнхен.

\*\*

Можно сказать, что Сентябрь 1938 и особенно последние дни кризиса, когда надвигающаяся война уже бросала свою зловещую тень на Европу и ее народы, послужили эпилогом отвлеченной жизни культурного французского мира. Интеллигенция отложила в сторону книги, перо, бумагу, вышла на улицу, смешалась с людьми других классов и устремлений, попала в порядке мобилизации на границу, в казарматы линии Мажино, в военные поезда, парки, аэродромы и казармы. Исполняя свой долг с величайшей серьезностью и достоинством, без боевых кликов, но и без сожалений, юная интеллигенция вступила в жизнь, и тем самым — и без войны — получила боевое крещение.

\*

\*\*

Не легко далось это боевое крещение даже тем, которые его давно ожидали и призывали. Первые недели после Мюнхена отмечены глубочайшими столкновениями и раздвоениями не только политических и социальных, но и идеологических течений. Писатели и моралисты, философы и поэты, литературные критики, драматурги, выражались в самых страстных формах за Мюнхен или против Мюнхена, во имя мира или во имя так называемого «беллицизма».

Всякий, кому приходилось в это время бывать во французских писательских и публицистических кругах, был глубоко поражен этой

1) См. наши статьи в «Новом Граде», №№ 11, 12, 13.

раздвоенностью, или, точнее выражаясь, расщепленностью чувств и мыслей; и, действительно, тут можно писать, скорее, о расщепленности, ибо водораздел не проходил между теми или иными партиями, — правыми и левыми, национальными и интернациональными, — а пересекал все решительно партии и течения.

Оставляя в стороне крайне правые и крайне левые течения, демагогические методы которых не представляют особенного интереса, попытаемся подвести итоги многообразным и противоречивым мнениям, высказанным на страницах французской идеологической печати за истекшие после Мюнхена первые месяцы.

\*\*

Начнем с социально-политической группы «Esprit», ратующей за духовную революцию.

Известный читателям «Нового Града» ежемесячник первый отошел на чехословацкий кризис, выпустив в Октябре 1938 года ударный номер, всецело посвященный только-что развернувшимся событиям. Несмотря на трудность задачи, Эммануэль Мунье, редактор журнала, наметил в передовице от 22 сентября свои основные принципы относительно этих событий.

Заглавие статьи, «После измены», вполне ясно характеризует точку зрения автора, и недаром он приводит в эпиграфе евангельские слова: «Ирод... одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями». (Лук., XIII, 11-12). Берхтесгаден уже не внушал сомнений в дальнейшем ходе переговоров; Франция взбудоражена надвигающейся мобилизацией, но для Мунье неизбежное уже случилось, свершилось непоправимое, и время настало, — все равно, придется или нет физически воевать, — духовно приступить к переоценке ценностей.

Франции, — пишет Мунье, — суждено пережить час тяжкого унижения; но эта кара не обрушилась на нее за грехи сегодняшнего дня, она платит за старые ошибки, за моральное, социальное и политическое оскудение многих лет. «Esprit» не раз подчеркивал за последние годы нецелесообразность европейской системы, основанной на версальском мире, и опасности, которыми был чреват этот мир. С другой стороны, журнал и создавшееся вокруг него движение были с первых же дней направлены против неправды буржуазного порядка, — или, вернее, «беспорядка», — в котором были преданы все подлинные ценности человеческого достоинства и свободы. Ныне же ни стандартный антифашизм, ни шаблонная защита демократии не помогут избежать катастрофы. Даже если отсрочка будет дана, необходимо искать первым делом очищения. Это очищение несут с собою сами события: «огонь фашизма пожирает прогнившее здание», которого уже нельзя спасти пустыми словами и лозунгами. «Будем

иметь мужество, — пишет в заключение автор, — вынести относительно прошлого абсолютно свободное суждение, пересмотреть все ценности, все реальности, которые мы противопоставляли фашистскому урагану: говорить не о демократии, которую нужно защищать, а о демократии, которую нужно заново изобрести (*inventer*), не о свободе, которую нужно спасать, а о свободе, которую нужно вооружить, — не о консервации, а о революции».

В ноябрьском номере, автор возвращается к этой основной теме: не хранение старых, отжитых, чисто формальных ценностей, потерявших всякое содержание, — ибо мюнхенское унижение не может быть очищением, поскольку оно является лишь «замораживанием». А, наоборот, — принятие катастрофы, как начала новой эры духовного перевооружения и политической трезвости.

Франции, в частности, надлежит приобрести эту волю к трезвости. Если 30 сентября перестала существовать Европа, жившая под знаком французской гегемонии, — то это просто означает, что рухнула искусственная, «двухэтажная» дипломатия послеверсальской эпохи... Борьба против новой фашистско-германской гегемонии окажется плодотворной лишь в том случае, если защитники демократии откажутся вообще от всякой гегемонии, во имя справедливой европейской федерации.

Остается вопрос о «пацифизме» и «беллицизме». Мунье отвечает на этот вопрос, что нельзя закрывать глаза на физические ужасы войны и, тем более, на духовную катастрофу, которую всякая современная война неизбежно влечет за собой. «Подозрительного качества милитаризм», навязанный коммунистами рабочему классу, является величайшим соблазном. И все же «духовно сильная страна готова вынести войну, скорее, чем подвергнуться моральному рабству, так же, как духовно сильный человек предпочтет смерть унижению. Однако, это не мешает первой все сделать, дабы избежать войны, так же, как второй должен сопротивляться в час испытания соблазну смерти».

\*\*

Не все товарищи Мунье, однако, разделили изложенные им в двух осенних номерах позиции. Сам автор вышеуказанных статей не скрывал в них, что одни из его сотрудников стояли за мир во что бы то ни стало, не видя в нем ни унижения, ни ослабления Франции, а, наоборот, спасение; тогда как другие призывали к сопротивлению во что бы то ни стало, считая его единственным способом приостановить назревание мировой катастрофы. Эти два полюса, вокруг которых сгруппировались персоналисты, особенно ярко выражены двумя сотрудниками «Esprit», Лабрусом и Лакруа. Первый, который отражает настроения Поль-Форовских течений в социалистической партии (к которой принадлежит), убежден, что лишь

при помощи сговора с внешним противником можно продолжать дело внутренней социальной реконструкции. Он защищает свои позиции, утверждая, что они выражают настроения миролюбивого крестьянства, с которым он тесно соприкасался в дни мобилизации, и в инстинктивном отвращении к войне, которого он глубоко убежден. У Лабруса мы находим своеобразное пацифистское народничество, которым ныне проникнуты некоторые представители французской левой интеллигенции. Эти мотивы мы и находим, например, у известного писателя Жана Жионо, выпустившего брошюру «*Précisions*», весьма сходную по настроениям идеологии Лабруса.

Лакруа, наоборот, выступает во имя твердого сопротивления фашистским диктаторам. Он ратует за возрождение здорового национального чувства, за новое понимание и углубление французского национального гения. Будучи католиком и восставая против «руссоистских» и атеистических устремлений французской революции, он, тем не менее, ищет в этих исторических событиях источник некоей традиции свободы и раскрепощения человеческой личности, которая может, и должна, служить основой для обновленного французского патриотизма и французского свободолюбия. Лакруа расходился с Мунье в том, что не считает «консервацию» демократического *status quo* бесплодным и пустым делом. Он верит, что эти ценности до сих пор еще достаточно реальны и живы, чтобы можно было на них опираться во имя защиты свободы. Французский демократический дух до сих пор еще насыщен патриотической динамикой 1790-х годов.

Сравнивая противоречивые позиции Лабруса и Лакруа, невольно вспоминается фраза, произнесенная после Мюнхена в нашем присутствии одним молодым французским социалистом:

— Наша страна ныне разделяется на два лагеря: на лагерь «садовников» и на лагерь «граждан». «Садовники» мечтают о мире, дабы, как некогда Кандид, разводить свои цветы и стричь свои деревья. «Граждане» (*citoyens*) воскрешают традицию якобинцев и бьют тревогу, провозглашая старый лозунг: «родина в опасности»...

Несмотря на столь глубокое расхождение относительно толкования мюнхенского соглашения, группа «*Esprit*» сумела сохранить свою целостность и пытается, преодолевая ряд не малых трудностей, сохранить общую платформу и товарищескую сплоченность.

\*

\*\*

Зато глубокий раскол был вызван Мюнхеном в рядах «фронтизма», — юного оппозиционного крыла социалистов, возглавляемого Гастоном Бержери, и органом которого является «*Flèche*». Бержери, как известно, проявил себя «стопроцентным мюнхеновцем», оправдывая сентябрьское соглашение, как неизбежное последствие «версальских ошибок», с одной стороны, с другой, — подчинения рабочих и

ответственных политических деятелей приказам, исходящим из Москвы. Ряд деятельных сотрудников «*Flèche*», депутат Жорж Изар, Андрэ Делеаж, Жорж Дюво, Жюль Роман, Л. Е. Галэ, поставили Бержери в вину отсутствие конструктивной сопротивленческой программы, и вышли из состава редакции. Покинув ряды фронтизма, отколовшаяся группа недавно выпустила книжку под заглавием: «*Bataille de la France*»,<sup>2)</sup> в которой она пытается установить эту конструктивную программу:

а) создание твердой демократической власти; б) защита французской империи; в) интенсивное вооружение; г) обновление экономической системы и ее укрепление вне капитализма, вне гегемонии трестов, но также вне коллективизма и гос-капитализма; д) экономический контроль вплоть до автаркии; е) решительное сопротивление гитлеровской и муссолиниевской стихийной экспансии. Авторы подчеркивают необходимость признания за Германией и Италией «сфер влияния»: III рейху предоставляется бы, в таком случае, Восточная Европа, Италия — восточное Средиземное море; между тем, как Франция сохранила бы контроль над западным бассейном Средиземного моря.

Наконец, относительно франко-советского пакта, отколовшаяся группа «фронтистов» не закрывает глаза на факт, что франко-русские отношения потерпели тяжкий удар в связи с недавними (мюнхенскими) переговорами. С исчезновением чешского «трамплина», помощь, которую мог бы принести СССР в случае конфликта, является все более и более призрачной. Кроме того, авторы считают еще с одной возможностью: ось Берлин — Рим и ось Париж — Лондон могут продолжать вести переговоры, но СССР едва ли примет в них участие, как не принял в сентябре. Остается гипотеза международной конференции, сторонниками которой являются авторы, не особенно веря, однако, в ее осуществление.

Как бы то ни было, группа Изара не отказывается от пакта, а лишь усматривает необходимость некоторой компенсации: с одной стороны, соглашение с СССР, с другой стороны — сговор между четырьмя великими державами.

Добавим, что эта часть изаровского плана представляется нам несколько туманной. В общих чертах, можно сказать, что французская политическая мысль еще не справилась со сложными проблемами франко-советского пакта и гитлеровской экспансии в Восточной Европе; о последней французские публицисты имеют еще не полное представление и, быть может, представляют ее себе в слишком розовых тонах. Эти вопросы, однако, именно в виду их неформ-

<sup>2)</sup> «*La Bataille de la France*», par Georges Isard, André Deléage, Georges Duveau, Jules Roman, L. E. Galey, Ed. P. Tishé. 1938.

мленности, выходят из рамок настоящей статьи и потребовали бы специального исследования. (Отметим только, что украинский вопрос до сих пор остался почти не освещенным, за исключением некоторых статей, появившихся недавно в «Esprit»).

Подробного исследования потребовало бы также отношение вышеупомянутых публицистов-идеологов к вопросу о самом разделе Чехословакии. И тут оценка событий не завершена и нуждается в более четких перспективах. Но сейчас уже можно утверждать, что все — и «беллицисты» и «пацифисты», «граждане» и «садовники», — рассматривают этот раздел, как предательство, как «сговор Ирода с Пилатом». Однако, большинство высказывает мысль, что сдача позиций началась давно, с занятия Рура, и вполне определилась уже в дни аншлусса.

\*\*

Переходя от общественно-религиозно или общественно-политически настроенной молодежи к более широкому кругу французской интеллигенции, интересно раскрыть ноябрьский номер «Nouvelle Revue Française», сгруппировавший ряд выдающихся деятелей и публицистов. Правда, не все они принадлежат к «молодняку»; многие из этих писателей уже не раз проходили через «хаос искуса» и в дни великой войны, и в первые послевоенные годы. Но и они оторвались от действительности, уйдя в чистую литературу или увневшись холодным, бесстрастным разбором современных доктрин и идеологий.

И для них «Мюнхен» явился несколько неожиданным пробуждением; каждый из них пережил по своему сентябрьскую драму и попытался по своему ее продумать и изложить.

И тут первым делом в глаза бросается разнобой: радикальный критик и мыслитель Жюльен Бенда проявляет себя бурным «беллицистом»; он видит в Мюнхене позорную капитуляцию, вызванную страхом буржуазных демократий перед мировой коммунистической революцией, которая грозила бы всем странам в случае войны. Бенда предсказывает дальнейшую сдачу позиций и постепенное подчинение демократии фашистским или пара-фашистским влияниям.

Арман Петижан, один из самых юных сотрудников «Nouvelle Revue Française» печатает поэму в прозе: «Prière pour les Copains» («Молитва за товарищей»), в которой призывает Францию к духовному обновлению. «В небе тучи уже наливаются кровью», по возможно еще остановить приближающийся кровавый потоп. Для этого необходимо отстранить от власти «несколько сот тысяч банкиров, парламентариев, помещиков, журналистов и разного рода сообщников, которые выступают якобы во имя французского народа... Они говорят об объединении, а сами двулики; о работе, а сами бездельни-

чают; они призывают к молодости, а сами несут на своих плечах всю ветхость мира...». И автор умоляет Бога дать Франции новых вождей, новых воспитателей, и «особенно, о, Господи! (воскликает он), новых писателей!..».

Далее, в глубокой, серьезной и проникновенной статье, известный писатель Жан Шлемберже восстает против чувства унижения, навязанного Мюнхеном; не потому, что он не признает нанесенного демократиям ущерба, а потому, что считает необходимым реагировать против нездорового комплекса приниженности, им вызванного. Так же, как большинство нами цитированных авторов, Шлемберже считает, что позор начался не с Мюнхена, что корни его в «версальских ошибках», потому что, — пишет он, — «Версаль поручил нам роль, которая была не по силам нашему жизненному потенциалу. Мы желали принять эту роль, но отказывались от связанного с ней напряжения...». И то, что случилось, это удар по французскому тщеславию, которое «не заслуживает ни единой слезы».

Автор противопоставляет этому политическому «чванству», потерпевшему заслуженное поражение, подлинную душу Франции, то-есть душу ее народа, достоинство и выдержанность последнего в дни мобилизации, его готовность идти на жертву без сожаления и без оглядок.

Мобилизация в сентябре продлилась пять дней, и «этого было достаточно, чтобы внушить уверенность..., что Франция действительно двинулась, и что это был ее подлинный шаг, ни слишком медлительный, ни слишком поспешный; шаг людей, которые готовятся к длинному переходу...».

В этом «шаге» французского народа Шлемберже видит залог необходимого возрождения Франции, ее духовного выздоровления; дело не в кичливых претензиях быть «первой державой в Европе», а в желании работать на укрепление мира. Но эта работа, это новое равновесие, благодаря которому можно будет избежать войны, не обойдутся, не могут обойтись, даром. Автор напоминает, что «мир» будет стоить столько же усилий, денег и времени, сколько и война, а это значит — очень много усилий, денег и времени...».

\*

\*\*

Укажем в заключение на две недавно вышедшие книги: «Equinoxe de Septembre», известного романиста Анри де Монтерлана, и «Cela dépend de nous», не менее известного писателя и драматурга Жюлья Ромэна.

Анри де Монтерлан уже не раз выступал в связи с сентябрьскими событиями. Его записи о недавней мобилизации, в которой он лично принимал участие (Монтерлан участвовал и в великой войне, где был тяжело ранен), появились в парижских еженедельниках, а также в цитированном выше ноябрьском номере «Nouvelle Revue

*Française*». Несколько времени спустя автор прочел нашумевший доклад о сентябрьских итогах и настроениях. В выпущенной в Декабре книге <sup>3)</sup> он собрал и развил этот разнообразный материал под видом общих рассуждений о судьбах Франции накануне, во время и после Мюнхена.

Книга Монтерлана блестяще написана; нужно признаться, однако, что она неприятно поражает читателя своей резкостью, агрессивностью в критике Франции. Автор утверждает, что критикует так страстно только то, что подлинно любишь, и в этих «печоринских мотивах», в этой «сладостной ненависти к отчизне», можно найти оправдание монтерлановскому патиску. Трудно, однако, согласиться с ним, когда он пишет, что «французская мораль — это мораль мидинеток», что Франция страна «без зубов», где все сделалось пошлым, слабым, расхлябанным и, в лучшем случае, — призрачным и бесплотным.

Монтерлан не слышит «державного шага» народа, который некогда слышал в России Блок, и к которому во Франции прислушивается Шлембержэ. Не слышит он и духовных, религиозных мотивов, столь ярко выраженных современной французской интеллигенцией, и о которых нам так часто приходилось писать.

Но многое у Монтерлана верно и хлестко выражено. Даже его чрезмерное преклонение перед голой силой, с которым нам нельзя согласиться, не исключает правильности и глубины многих оценок и суждений. События последних лет и, особенно, недавно развернувшийся кризис он считает явлениями благими, поскольку они заставляют людей жить «на-чеку», постоянно подтягиваться и морально перевооружаться.

Тоталитарные колдуны, большие и маленькие, — пишет он, — мешают нациям, предпочитающим счастье, сделаться нациями немняемыми: есть минимум мужества, ниже которого нельзя будет опуститься. Германия приставлена к Франции, как Ксантиппа к Сократу: чтобы дать ей возможность преодолеть себя...

Тоталитарные колдуны дают друзьям свободы возможность глубже ею наслаждаться, а друзьям некоторой формы культуры дают возможность объединиться, «чтобы ее защищать». Диктаторы поддерживают чувство «непрочности жизни», ее «относительности», ее опасного и хрупкого характера. Все это не только укрепляет мужество, но развивает и мудрость, а, главное, «учит покидать» старые позиции. «Каждая тревога является случаем, выражаясь на военном языке, прибрать войска к рукам...». «Мы должны быть всегда готовы потерять наше имущество, наши возможности, наших близких и дорогих людей, связанных с нашей плотью, самую нашу жизнь...».

<sup>3)</sup> Henry de Montherlant. «Equinoxe de Septembre». Edit. Grasset. Décembre 1938.

Слова поистине прекрасные, полные глубокого, подлинного пафоса. Однако, нам не совсем ясно, каким образом Монтерлан найдет возможность обосновать эту героическую жертвенность, поскольку он является противником братской любви (автор все более подчеркивает в своих писаниях антихристианские мотивы). <sup>4)</sup> Монтерлан не чужд некоторому ничезанству, которое едва ли созвучно французской культуре и французской духовности. Если он прав, призывая свою родину возродиться и очиститься после пережитой бури, то едва ли она пойдет указанными им «теллурическими» путями, которые, скорее, являются путями Центральной Европы.

\*  
\*\*

Книга Жюль Ромэна прямо противоположна сентябрьскому сборнику Монтерлана. Правда, «Cela dépend de nous» <sup>5)</sup> («Это зависит от нас») также является призывом к обновлению, к возрождению Франции. Можно добавить, что на этом пункте национального оздоровления все решительно согласны. Но по всем другим пунктам Ромэн диаметрально расходится со сторонниками вооруженного сопротивления; он убежденный защитник мира, и приветствует Мюнхен, поскольку Мюнхену удалось отложить войну, ибо, — пишет он, — «отложенная война, это — война, которая, может быть, никогда не вспыхнет».

Убежденный демократ и гуманист, автор замечательной брошюры «За дух и Свободу» <sup>6)</sup>, содержащей выступления автора на собрании Пэн-Клуба в 1937 году, Жюль Ромэн один из самых решительных и взвешивающих критиков тоталитарных доктрин, красных и белых фашизмов и вообще всех современных политических систем, основанных на насилии над телом и духом человека. Вот почему его ни коим образом нельзя заподозрить в каком-либо «соглашательстве» с диктаторами. Ромэн обосновывает свою защиту Мюнхена на инстинктивной тяге народа, или, вернее, народов, к миру; в этой тяге он глубоко убежден: «Ни в одной стране, — пишет он, — правители не встретили в населении ни малейшего воинственного возбуждения, не нашли того специфического воздуха, которым так опасно дышать, и который в прошлом порождает катастрофы... Времена «веселой и здоровой войны» еще далеко не вер-

<sup>4)</sup> Мы уважаем всякое мнение, поскольку оно является искренним убеждением. Мы можем только сожалеть о выпадах Монтерлана против речи Папы за мир, которую и неверующие приняли, как высшее проявление христианского духа любви.

<sup>5)</sup> Jules Romain. «Cela dépend de nous». Ed. Flammarion, 1939.

<sup>6)</sup> «Pour l'Esprit et la Liberté», Ed. N. R. F. 1

нулись. В 1938 была возможна лишь война безропотная и без иллюзий...».

\*  
\*\*

Таковы главные течения французской мысли после Мюнхена, но мы отметили лишь ее самые характерные черты, ибо невозможно в журнальной статье изложить хотя бы часть этого чрезвычайно богатого и, как видно, разнообразного материала.

Добавим в заключение, что мы пытались подвести итоги этой мысли, сознательно воздерживаясь от выводов. Не нам судить о судьбе Франции и о путях, которые она должна избрать. Ибо каждый народ имеет свой гений, и иностранец всегда рискует жестоко ошибиться, так или иначе его оценивая. Но ясно одно: что Франция пробудилась, что она жаждет возрождения и укрепления своих сил; за истекшие после Мюнхена, и особенно после второго раздела Чехословакии месяцы, она проделала огромную работу, технически и морально перевооружилась. В тоже время, она осталась верной своей демократической традиции, духовным богатствам своей культуры, свободолюбию и гуманности своего народа.

Елена Извольская.

## ПУТИ ИЗРАИЛЯ

Еврейская проблема становится в наши дни самым грозным и жутким вопросом современного сознания. Поднимающиеся волны антисемитизма страшны и опасны вовсе не только для евреев. Они являются грозным испытанием всего современного сознания. Однако, нужно сказать, что это способствует тому, что сама проблема развертывается с необыкновенной силой и глубиной, она перемещается на какую-то новую плоскость, получает новую постановку и новое освещение. Сам этот антисемитизм становится глубоко симптоматическим явлением. Под поверхностью разыгравшихся стихий неведомо совершается нечто гораздо более существенное, значительное и решающее чем весь этот шум поднятый вокруг «еврейского вопроса». И прежде всего становится очевидным, что антисемитизму недостаточно противопоставить нравственную и правовую идею, что надлежит искать ответ на всю трагедию Израиля в его таинственной связи с судьбами мировой истории.

Существует несколько типов отношения к еврейской проблеме. Для социолога, экономиста, для историка права или культуры еврейство остается социальной, или экономической или юридической категорией... Современный расистский натурализм превращает весь вопрос в

биологию. Антисемитизм в наши дни пользуется преимущественно расовыми аргументами, однако, часто лишь прикрывая этим свои злобно-ненавистнические чувства, свой *ressentiment*.. Не буду говорить о том подходе к еврейской проблеме, который стал главным источником бредовых идей, о «еврейском заговоре», «сионских мудрецах», «кидо-масонах» и т. п. — сказка или, вернее, «кровавый навет», все еще смущающий некоторые умы.

Но за последнее время и притом не без связи с новой волной кровавого гонения на евреев, возрождается иное восприятие проблемы, возникает сознание ее религиозно-метафизического и онтологического значения... Израиль, «разбросанный и рассеянный, в преткновение и соблазн всем народам» (книга Есфирь, 3 гл., 8 ст.), всегда был гоним и распинаем; никогда не прекращалась литься кровь еврейского народа, но, быть может, никогда он не распинался так, как распинается ныне. И сам этот факт заставляет нас углубиться, задуматься над тем, что есть какая-то тайна Израиля, что существуют таинственные, мистические пути и судьбы Израиля, всего еврейского народа, а не отдельных только евреев, что существует трагедия Израиля, которая может быть постигнута лишь религиозно.

Еврейский народ не есть народ лишь в расовом, этническом, племенном смысле этого слова; он не представляет собою и просто исторической единицы, характеризуемой особой социальной и политической жизнью. Его судьба определяется включенностью в духовные судьбы всей мировой истории, в центре которой он имеет свое особое призвание — быть народом Божиим, избранным народом, «святым Израилем». «Ты Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семья Авраама, друга Моего, ты, которого Я взял от концев земли, и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя» (кн. прор. Исайи, гл. 41, ст. 8-9); «Я Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников» (там же, гл. 42, ст. 6). Бытие еврейского народа заключается в его миссии, в его особом религиозном служении. Самым существенным и значительным признаком еврейского народа является его религиозность. Израиль по существу не простое единство единоплеменников, а единство детей Авраамовых, единство народа, избранного Богом, посягающего на теле своем печать вечного Завета с Богом. Это Богом освященное и скрепленное единство сильнее и глубже, чем всякое естественное, натуральное и даже культурное единство. Можно сказать, что единство и целостность Израиля имеет свое подобие лишь в мистическом единстве «общения святых» (*coinonia ton agion*). в единстве Церкви. Израиль — это священная земля, Царствие Божие, — однако, лишь в обетовании, взыскуемое, но не обладаемое... Величайший смысл самой еврейской культуры в том, что она насильно религиозна



и вне религии не объяснима. Этого могут не сознавать отдельные евреи; могут быть евреи, сознательно ни во что не верующие или верующие в плоскую религию позитивизма и материализма. Тем не менее и такой еврей остается религиозным евреем, и в душе его не угасает огонь веры. Он всегда хранит в себе пламенный, устремленный к последнему и абсолютному, ни перед чем не останавливающийся религиозный порыв... В конце концов, ненависть мира к евреям есть ненависть к их жажде и вожделению абсолютного. Израиль существует в мире, чтобы возбуждать его, раздражать, приводить в движение; он беспокоит мир, не дает ему уснуть духовно; он вносит тревогу, неудовлетворенность, распаляет жажду по вечному и абсолютному и тем самым как бы ускоряет движение истории. Даже в тех наиболее отрицательных и отталкивающих свойствах еврейства, в его самодовольстве и тщеславии, в его жадности и сребролюбии, вызывающих у многих справедливое отвращение, есть своя глубина, сокрытая, разумеется, от тех, для которых все в мире плоско и бессмысленно. Ведь, еврей и в экономизме и маммонизме ищет утоления своей духовной жажды и муки. Деньги имеют особую, таинственную, притягательную силу для него: деньги — это самый страшный и злобеший символ, как бы бледная тень проданного и распятого Мессии. Об этом с изумительной силой говорит Léon Blois. Деньги — это кровь Бедняка, Нищего, ставшая великим знаменем — ценой Неоцененного. И Израиль уже не может отвести руки от того, что запечатлено кровью Распятой Любви.

Итак, мир ненавидит тоску Израиля, его духовное скитание, его алкание и жажду, его мучения и вопрошания и, в конце концов, его призвание. *Odium generis humani*. Но эта ненависть мира есть слава Израиля, она лишь распаляет тоску его и жгучую надежду на грядущее. В этой надежде вся сила жизни Израиля, он создан для нее, для страстной надежды, чаяния и упования грядущего, — явления Бога на земле. Израиль хочет, вечным, безумным хотением, правды Божией в мире, в этой жизни, *hic et nunc*, он взыскует Града Божия. И пока нет его, томлением и тревогой исполнено его сердце. Как при реках вавилонских, Израиль стелает и рвется на встречу Иерусалиму и в пророках своих зовет к нему, к Граду Божию и страшной Славе его. «Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилихни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе весения моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда говорили они: «разрушайте, разрушайте до основания его». Дщерь Вавилона, окающая! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Псалом 136)... Пусть услышат это современные гонители Израиля и узнают, что эти слова, исторгнутые из растерзанного сердца, суть глаголы гнева Божия. Это не вялые, «травоядные» речи «гуманистических» апологий иудей-

ства, а слова, от которых могут затрещать стены «Вавилона», слова, которых уже нельзя отмыть, которые не останутся тощими, ибо звучат в вечности, звучат и нынче, когда вновь Израиль «при реках вавилонских», в изгнаничестве и страдании, когда давит его неодолимый напор наглого хохота над всеми святынями его, пад всеми молитвами и вздохами, над судьбою и крестом его.

Но тут и вырастает вопрос о смысле судеб Израиля и его религиозной трагедии. Мы видели, что истинная сущность израильтва не в племенных, национально-этнических признаках, а в том, что оно есть насквозь религиозная и от религии не отделяемая, богословски-онтологическая категория, включенная в глубину мировой истории, в само бытие человечества. Существует некая таинственная связь Израиля с миром, подобная связи Церкви с миром. Израиль есть прежде всего священный центр, в котором сошлись все нити, все лучи Божественного откровения и сосредоточились все природные и благодатные силы, необходимые для явления в Израиле Мессии, для принятия миром Бога, которого взыскует и жаждет он... Именно еврейству присуще напряженное чувство явления, откровения, воплощения вечного во временном, открыта та благодатная, но и страшная близость человека к Богу, которая есть основа знания, жизни и бытия. Это свойственно не только ветхозаветному религиозному сознанию, но встречается у всех почти еврейских писателей и мыслителей. В сущности, Израиль бессознательно всегда ожидал, что Бог должен быть «рожден»; в этом ожидании, неугасимом и жадном — его миссия, его задача. Он до того возлюбил и постиг существо рождения, жизнь в глубине ее завитков, там, где она касается «звездного неба», что верил — Бог освятит тем, что через него и в нем воплотится. Вообще обычное представление о том, что весь пафос юдаизма в трансценденности Бога миру, при которой Он проявляет Себя к нему лишь как Судия и Законодатель, в которой Он соединен с человеком высшим только, вполоченным для него «заветом», причем вся ветхозаветная религия превращается в мораль, — такое представление должно быть признано совершенно неверным. Такой дуализм с неодолимой необходимостью должен приводить к отрицанию всякого знания о Боге, и даже сомнению в том, есть ли вообще Бог, и не существует ли только человек со своими человеческими представлениями и догадками о Боге. Однако весь Ветхий Завет, начиная с первых страниц Книги Бытия есть прямое опровержение этого. Для Израиля вечность всегда относительна времени, быванию, воплощается во времени и во временном, в конкретном, историческом, земном. Бог есть как бы «фокус» истории, входит в нее и ее определяет. Именно еврейский народ создал чрез своих пророков философию истории, осмыслил, онтологизировал историю, увидел ее как «Священную Историю», как богооткровенный, бого-человеческий процесс, ведущий прямо к боговоплощению и, так сказать, предвещающий его... В условиях времени

и пространства, в священном центре — Израиле и подлежало совершиться «началу» спасения всего мира, той встречи Бога с миром, которой так жадно искал Израиль. «Спасение соделал еси посреди земли». Израиль в этом смысле имеет совершенно исключительное, единственное значение: он, так сказать, не сам по себе, а для других, он тот, через кого надо «пройти». Он как бы не знает в себе предела, остановки, хотя в Ветхом Завете и был соблюдаем Промыслом Божиим в замкнутости, собранности и уединении, а представляет собою известное «между», в котором и через которое история начинается, ширится до беспредельности бытия и достигает вечности. Именно юдаизму введена тайна исторической онтологии, откровения Бога в истории, совершающегося и «воплощающегося» бытия. В этом мессианство еврейского народа, которое и могло осуществиться, реализоваться лишь в том абсолютном откровении Бога, которым явилось боговоплощение. Если Божественный центр, святая основа истории — в Израиле, то эта «центральность» его стала осуществленным, конкретным, историческим фактом в бого-человеческом акте Рождества Христова. Поэтому само существование богоизбранного народа есть уже потенциальное Богочеловечество, тот «святой начаток» в отношении к «целому», «корень, держащий все», о котором говорит ап. Павел (Посл. к Римл., 11 гл., ст. 16,18). «От Сиона выйдет закон и слава Господня от Иерусалима» (Кн. Прор. Исая, гл. 2, ст. 3). И Христос говорит: «Спасение от иудеев» (Еванг. от Иоанна, 4 гл., 22 ст.).

Израиль является в этом смысле подлинным символом, живым прообразом Церкви — Тела Христова, тем телом, в которое воплощается мистическое Тело Христово.<sup>1)</sup> Вот смысл известной святоотеческой мысли о том, что Ветхий Завет есть прообраз, символ Нового Завета, что Новый Завет есть осуществление и исполнение Ветхого Завета. Однако, образ существует не вне прообраза, а в нем и через него. Прообраз — это существо, основа, энтелехия образа, осуществляющего и реализующего ее. Ветхий Завет вечен, ибо он помещается в Новый Завет, вечно пребывает в памяти Божией и в памяти человеческой, в памяти Богочеловеческой. В этом смысле непреложности, неотменности, нерушимости призвания избранного народа (Посл. к Римл., 11 гл., 29 ст.), хотя бы и отверг он пришедшего Мессию, в этом смысле вечного значения Израиль.. И Христос Богочеловек, «Слава Израилья», пребывает Израильянином. Его израильство не растворяется, не уничтожается в Его всечеловечестве, которое вовсе не есть абстрактная универсальность, а лишь преодоление ограничен-

<sup>1)</sup> В этой связи необходимо указать на образ Пресвятой Девы Богородицы, вместившей и сосредоточившей в себе всю богообрученную ветхозаветную святость Израилья. В ней, несомненно, приоткрывается вся тайна, весь смысл и значение Богоизбранности еврейского народа (на это указал В. Н. Ильин в своей интересной статье «Христос и Израиль», «Путь» № 11).

ности и узости. Само Бого-человечество есть поэтому и Бого-израильство, — непризнание чего ведет нас в тушки монофизитства и докетизма. Тут снова открывается тайна неразрывной связи судьбы всего человечества с судьбою Израилья. Ибо Царь Израилев есть вместе с тем Царь всех народов..

Однако, если так близка онтологически и неразрывна связь израильства с христианством, судьбы Израилья и судьбы новозаветного человечества, если само израильство раскрывает себя, свою подлинную сущность в христианстве, то что же означает отвержение Христа Израилем, неприятие собственного же Мессии, что значит то страшное и как бы уже навеки звучащее «распни Его», возведшее на крест Спасителя мира? Мы находимся здесь пред лицом невероятной, несбыточной, единственной в мире трагедии, перед которой в бессилии разрывается ум и сознание человеческие. Тут величайшая тайна, на которую мы, однако, не можем закрывать глаза, от которой мы не вправе отгораживаться. Мы должны заглянуть в глубь этой тайны, хотя все здесь грозит бездной; нет иного места, которое содержало бы такие ответы, какие находит человек здесь, подходя к средоточию мировой трагедии. Но и для Израилья нет иных путей, как лишь путь осознания этой тайны. Пусть те, которые боятся бездны и под тем или иным предлогом отворачиваются от прямых и мучительных вопросов, знают, что нет иного исхода из конфликтов судьбы Израилья, как только этот мучительный и безбездный. Нам надо спуститься в эту «тьму кромешную» падения и отвержения, христоворства и богоборства взрывающих самые недра Израилья, чтобы сквозь обступающую мглу узреть Лик Христов, здесь и, быть может, только здесь светящийся.

Итак, Израилья распял Христа, распял в безумном, самоубийственном самоотречении своего Единого Ближнего, своего собственного Мессию. Вот источник трагической судьбы Израилья, его «проклятия» и вместе с тем источник внутренней, религиозной трагедии всякой еврейской души. Само отвержение Мессии раскрыло эту трагедию и состояние Израилья ныне и есть само отрицание Богочеловека, кровь которого «на нас и на детях наших». И кровь эта горит мучительно и больно на челе сынов Израилевых. Кто утолит эту страшную боль? Но Израилья сам себя предал на распятие. Ему принадлежало в вольной муке взойти на Голгофу и умереть, как природное, натуральное тело Мессии, как человечество Богочеловека, дабы свершилась тайна домостроительства спасения. И что иное значит безумный вопль сынов Израилья «распни Его, распни», как не «распни, распни себя»; но распни себя, не себя ради, а страданий ради погибающего мира. Чтобы себя распять, чтобы воздуть на главу свою венец терновый, чтобы вонзить копьё и себя разгвоздить на кусочки — и веры не надо. Потому сам Израилья и есть крест на котором распят Сын Божий, крест спа-

сения мира. Вот где тайна с ее бесконечным, бездонно глубоким смыслом. О ней то и вещает в великом дерзновении ап. Павел: «Неужели Бог отверг народ Свой? Никак... Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал... Что-же? Израиль, чего искал, того не получил? Никак. Но от их падения спасение язычникам... Если же падение их богатство миру, и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их... Ибо, если отвержение их примирение мира, то, что будет приятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломались, а ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься пред ветвями; если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя... Ибо, если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова; и сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Исаия, 59, 20-21). В отношении к благовестию они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания непреложны» (Посл. к Римл., 11 гл., ст. 1-29).

Если избрание совершается силою Божественной любви, премудрости и всемогущества — оно не может оказаться ошибкою, не может не «оправдать» себя, так сказать, не удался, но «оправдывается» и осуществляется, как ни страшно это сказать, в самом неприятии Христа, в распятии Его. Таков прямой смысл и слов ап. Павла. Это надлежит принять, хотя принять не значит утвердить как должное и правильное само отвержение Христа Израилем... Однако и в избрании Израиль остался свободным, ему как бы вверялись его собственные судьбы и в них судьбы всего мира, в которых надлежало совершиться домостроительству спасения. Он свободно, в вольной муке взял на себя проклятие крови Христовой, избрал страшный жребий, уготованный ему Промыслом Божиим. «Страшно впасть в руки Бога Живого», ибо они всякому даруют, чего возжелает душа его... И Израиль принял крест. Крест его и распятие продолжается доньше, как и Христос доньше распинается, хотя и воскрес и воссел одесную Отца. Вот судьба и пути Израйля. Он обречен на муку отверженности, изгнанничества и рассеяния, — «доколе не войдет число язычников». Доколе сам в великий день последнего свершения не снимет со креста распятого Богочеловека, в котором сам себя дал на распятие, которого, ведь, алкал и когда гнал, которого любил и когда распинал, своего Мессию, своего Спасителя; да и не мог не любить, ибо неизбежно, неудержимо жаждал Его... Так в измученном плече, изъяз-

вленном лице Израйля зрится поруганный, оплеванный, окровавленный Лик Того, кто назвал Себя Царем Израилевым. Но если сам Израиль распят для мира, то Господь возлюбил, быть может, и муки христоробства Своего народа и в самих этих муках дарует уже прощение Своей любви, милующей и спасающей. Ведь, возлюбил же Он Иакова, который боролся с Ним в таинственную ночь, и не отпустил, пока не получил благословение. И если избрание непреложно, неотъемлемо, нерушимо, если Израиль пребывает в вечной памяти и вечной любви Божьей, то Христос в нем и с ним, и он восстанет подобно христоробцу Савлу, сердце которого в самом христоробстве тайно в себе Христово воскресение... «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!... Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь» (Римл., 11, 33-36).

Евгений Ламперт.

## О ТРЕТЬЕМ СОЦИАЛИЗМЕ

Прошли детские годы фашизма: он больше не подающий надежды ребенок. В Италии режиму 17 лет; возраст уже подсудный. И в Германии отпразднована первая пятилетка: «ребенок» уже научился говорить. Но бросим метафоры. Факт тот, что фашизм притянут к ответу. В кредит ему больше не верят. А в России, — но, подлинно, можно ли сегодняшний строй назвать фашистским?

Сближение диктатур Сталина, Гитлера и Муссолини стало базисным. С другой стороны, «фашизм» часто берется слишком широко. Посмотрите на любую «антифашистскую» афишу. Чего там только не сваливается в общую грудку под кличкой «фашизм»: и «реакция» (это уж обязательно), и «клерикализм». Словом: поп, буржуй и городской.

Чтоб внести ясность в спор, скажем сразу, что проблема имеет два (по крайней мере, два) самостоятельных аспекта: политический и экономический. Нам, придется нарочито разделять то, что в общежитии смешивается, и каждый аспект разбирать отдельно.

Политически, мы определим фашизм, как однопартийную, тоталитарную диктатуру. И еще уточняя, добавим: фашизм есть диктатура гражданская (а не военная, — в этом новизна), политическая или идеологическая (то-есть не религиозная); ее база — средние классы; хотелось бы сказать — диктатура мещанства, если бы «мещанство» не получило специфического оттенка. Из этого определения, например, следует, что ни Японию, ни Португалию, ни

Испанию Франко (пока что) нельзя назвать фашистскими; хотя некоторое идеологическое сродство с фашизмом определенно имеется.

Базой фашизма являются средние классы. Это многое уже предопределяет. Найдутся любители спорить и тут. Между тем, совершенно очевидно, что базой этой не являются ни остатки высших слоев общества, ни крупная буржуазия, ни интеллектуальная элита — с одной стороны; с другой — ни крестьянская, ни рабочая масса. Крестьянство по существу своему всегда пассивно и только «примлет». Класс же физических рабочих (который больше не совпадает с пролетариатом вообще) еще так недавно был в противоположном лагере, что поверить его поголовному и полному обращению нет никакой возможности. Но какой-то процент — безусловно обратился.

Все же среднее, от верхушки рабочих включительно, до «интеллигенции», сию последнюю, в целом, исключая, — бесконечное море (на Западе) служилого пролетариата, мелко- и средне-буржуазные круги, полунинтеллигенция, — вот подлинная база однопартийной системы.

Тут сразу интересно отметить прямое преемство с марксизмом. Персонально (в лице большинства вождей фашизма) это все та же клиентура, в которой зародился и распространился марксизм (от верхушки рабочих до служилой интеллигенции). Мы не хотим этим давать никаких качественных определений, а только фиксировать социальную почву, как марксизма, так и его отрицания: фашизма. Ибо симметрическое отрицание, «антитезис», есть развитие «тезиса». Короче, и утверждение и отрицание исходят из, и остаются на какой-то общей почве.

Та общая почва, которая сближает все виды фашизма с большевизмом, и через голову Ленина роднит национал-социализм и фашизм итальянский с марксизмом, это анти-персонализм. Идеал у них общий (и он неизменен): Государство — Робот, Механизированный Муравейник.

И любопытно, как искаженная реальность мстит за себя. Всякие и любые антиперсоналистические доктрины — лишь доктрины. Личность же — реальность. Поэтому коллективизм имеет своей неизбежной изнанкой утверждение одной личности (хотя бы одной), которой воздаются просто божеские почести.

Порок всякой «роботской» философии в том, что «робот» тоже — продукт духа и требует хотя бы одной личности (а не робота же), чтоб роботом управлять.

\*  
\*\*

Но за общей принципиальной основой есть, конечно, и существенное различие — оставаясь даже в чисто политической области — между «большевизмом» (если сохранить за системой Сталина это анахроническое название) и «фашизмом». И сравнение будет не в

пользу Сталина, не во гнев будь сказано зарубежным и заграничным большевикам. Обратимся к внешней политике, посмотрим на международное положение каждой из трех диктатур. Простая справедливость (отсутствующая, впрочем, в политических страстях) требует отметить, что Фюрер добился сказочных успехов, Дуче приобрел для Италии кое-что, в то время, как «божественный» и «гениальный» не только ничего не добился (это при русских-то огромных возможностях), но и сам мечтает только об одном: быть бы целу!. И безнадежно болтается между двумя берегами: от одного отстал, а к другому пристать не решается. Так, расправившись с ленинскими пришепниками, не решается расправиться с ленилизмом; приказывает воссоздавать русскую историю, но по прежнему душит русскую веру, которой эта история творилась; уступил колхозникам, но до этого насильственной коллективизацией обескровил и истощил крестьянство (это в видах обороны-то); не говоря уж про расправу с высшим офицерством и про восстановление невежественного института невежественных комиткомиссаров в армии (это для укрепления дисциплины-то).

\*  
\*\*

Однако, как ни велики внешние успехи фашистских диктатур, мы не можем их поставить в плюс фашизму, как таковому. Патриотизм не специфическая его черта; не его — «новое слово». И возрождение или реабилитация любви к родине не обозначает еще приятие фашизма. «Новое слово» фашизм провозглашал именно в социальной плоскости. И здесь надлежит искать ответа: много-обещающий ребенок возлагавшийся на него надежды оправдал или нет?

В чем же заключается «новое слово» фашизма — в социальной, или точнее — в социально-экономической сфере? Трудно дать сразу исчерпывающий ответ. Теоретических писаний и панегириков очень много; но, отшелушив декларативные украшения, конкретных указаний остается меньше малого. То общее положение, с которым соглашались все фашистские авторы (оставаясь исключительно в социально-экономической области), едва ли не окажется — отрицанием капитализма. О смертных грехах последнего мы слышали (и слышим) очень много. Но все же — что нового создано взамен, какие ясные и отчетливые признаки можно положить в характеристику новой системы? —

Здесь придется сделать довольно неожиданный, быть может, вывод. Фашизм — совершенно конкретная, имеющая свою точную характеристику, политическая система; но в экономической плоскости фашизм есть тот же — но ущербленный — капитализм.

И здесь лежит коренное различие между фашистскими странами, с одной стороны, и советской Россией, — с другой.

Попробуем определить, что такое капитализм, и затем с этим критерием подойдем к анализу.

«Капитализм» тоже стал понятием слишком расплывчатым и неопределенным. В него вкладывают все, что угодно. Но мы откинем определения эмоциональные: эстетические или символические, а сосредоточимся исключительно на экономике. При чем капитализмом обозначим не всю сущность экономических взаимоотношений — от сотворения мира и до Карла Маркса, а только известную, ограниченную во времени форму или стадию этих взаимоотношений; то-есть вернем капитализму его смысл, как исторической категории.

Задача упрощается. В таком случае суммарная формула капитализма (содержащаяся, впрочем, в самом термине) будет:

концентрация капитала, при чем само собой разумеется, что речь может идти только о частном капитале. Но сюда не относятся ни частная собственность, как принцип вообще, ни наемный труд, как таковой, ни частная торговля, ни денежная система и обмен, ни частная инициатива. Все это существовало и в докапиталистические эпохи, на разных стадиях экономики, и в разных человеческих обществах. Наоборот, сюда относятся:

- 1) крупные и крупнейшие предприятия (тресты, концерны, консорциумы и т. д.);
- 2) обезличение капитала (анонимные общества, акции, облигации и т. д.);
- 3) доминирующее место кредита (банки, биржа, развитие чеков и т. д.);
- 4) преобладание внешней политики над внутренней, в том смысле, что все подчиняется политике рынков.

И что же, разве в фашистских странах не существует всего этого? Не существует крупного частного капитала? — Нет, он существует, но ущерблен (как капиталистическое хозяйство военного времени). Не существует частных банков, кредита, процентов, биржи, акционерных обществ, трестов, процентных бумаг, классовых различий, бедных и богатых? — Все это, конечно, есть, с той разницей, что, в общем и целом, обеднели все. Существует и конкуренция (на внутреннем рынке), и поиски новых рынков во вне. Не существует забастовок, свободных рабочих союзов, профессиональной защиты. Но все это — только в ущерб рабочему классу, и знаменует, скорее, возврат к раннему, особенно тяжелому для рабочих, типу капитализма.

В какую бы сторону те или иные фашистские государства ни эволюционировали в будущем, пока надо признать, что никакой собственной, конкретной экономической системы фашизм не создал. Точнее всего экономически его можно охарактеризовать, как капиталистическое хозяйство военного времени.

\*\*

Дорого миру обошелся марксизм, и счет еще сполна не оплачен. Но отрава дошла до своего предела. Здоровый организм человечества выжил, и болезнь изживается.

Марксизм, заменивший, было, все социальные движения, как бы «гандикапировавший» все социальные искания, быстро линяет. Сходят краски с дубочной декорацией, трескается и рвется полотно, и от игрушечного рая остается — деревянный остов с висящим на нем тряпьем.

Вне России — нравится это нам или нет — санитарную миссию взял на себя фашизм. У нас на родине, наиболее от марксизма пострадавшей, ликвидацией марксизма занялись сами марксистские последыши.

Марксово учение не только потеряло всякую динамику: оно вообще бессильно. Ни умов, ни сердец больше ничьих не пленяет. Перед своим родным братом — фашизмом — повсюду с позором отступает. Марксизм более не способен защищать свои собственные позиции. Фашизм же есть только реакция: отрицание отрицания.

Что же остается для ищущих умов, для тех, кто желает жить — в будущем и для будущего? Некоторое время последним откровением казался фашизм. Но и он уже действительность, а не обещание. И действительность — не давшая ничего нового. Все тот же «проклятый капитализм», да еще под знаком войны.

Ищущим искать приходится наново.

Мы не берем на себя смелости начертать новый социальный идеал. Но на путь возможных исканий хотелось бы все же указать.

«Ничто не ново под луной». Новы лишь сочетания, или, как теперь говорят — *la présentation*. Поищем в прошлом, посмотрим, что вдохновляло, будило мысль целых поколений вплоть до Карла Маркса? — То, что самый Маркс так презрительно величал «утопическим социализмом».

Социализм «утопический», ранний — юношеская мечта Нового Мира (у Средневековья была своя мечта). Социализм — *acte de naissance* Нового Времени. Теперь юношеским грезам нет места. «Новое Время» уже не новое, а близится к закату. Для грядущей эпохи — третий социализм должен быть плодом опыта и размышления, хотя импульс остается старый; то-есть импульс «первого» социализма, а не «второго» — псевдонаучного псевдосоциализма (марксизма).

Первая ступень социальности — уничтожение деления на Общество и Народ («простой народ»). И основное достижение русской революции (другой вопрос, какой ценой) — уничтожение этого деления. Первая предпосылка для построения социалистического общества у нас, во всяком случае, налично.

И в России, сквозь смердящий провал марксизма, несмотря на

всю кровь, ужас, грязь и бессмысленную подлость марксистско-ленинского разгула, все же вырисовываются контуры какого-то нового экономического строя и новых социальных взаимоотношений, которые, быть может, послужат новой исторической категорией: социализма.

Лев Закутин.

## РЕЛИГИЯ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА

Теперь это уже стало общим местом. Даже люди, привыкшие всю действительность общества сводить к экономическим и юридическим отношениям, с беспокойством говорят о какой-то «мистике» национал-социализма. Но большей частью это выражение употребляется в самом неопределенном смысле, не связанном ни с какими конкретными представлениями.

Года два тому назад в «Современных Записках» в статье «Новая религия» К. Грюнвальд дал интересный очерк той религиозной «реформации», какой сопровождалась гитлеровская революция. В русской эмигрантской мысли эта статья осталась без всякого отклика. Для большинства наших интеллигентов, даже и порвавших с марксизмом, эта идеологическая надстройка, в которой сами создатели национал-социализма видят основу всей организации Рейха — нечто несущественное, ничего не объясняющее в структуре того тоталитарного государства, которое возникло в Германии.

Это отношение мне кажется ошибочным. Создание тоталитарного общества неразрывно связано с распространением определенной формы религиозности. Это только две стороны одного и того же социального феномена.

Начнем с «манифестированного» выражения этой новой религии.

Как ни страшно это признать, национал-социализм в карикатурно-искаженной форме осуществляет вековую мечту немецкой интеллигентской элиты — чаяние над-конфессиональной, единой национальной религии, «германского христианства»; осуществление которого явится миссией лютеранской Пруссии и католической Австрии, слившихся в единую Германию.

От Гердера до Чемберлена все пышнее расцветает традиция германства, антисемитизма и противопоставления германского Volkstum'a романтиков абстрактности европейских интернационалов — католического, либерально-капиталистического и социалистического.

Это слово — Volkstum, впервые было придумано John'ом, для обозначения понятия нации, не как плода общественного договора, а как живого органического существа. Это соборная сущность народа,

его движущая жизнь, его силы зачатия и возрождения, то, что соединяет всех индивидуумов, составляющих нацию, в одну общность, сообщающую всем им одинаковое сознание и чувства.

К концу 19-го века, когда началась распространяться мысль, что религия и культура определяются свойствами крови, физиологически и расовыми качествами, «германское христианство» окончательно принимает тот упрощенный и лже-пророческий характер, с которым в готовом виде оно перешло в религию национал-социализма.

В основе этой религии лежит учение Гердера, переносившего на нацию идею церкви, как мистического «Corpus Christianum», и соборности, предсуществующей своим членам. Идеологи национал-социализма беспрерывно возвращаются к этим понятиям, уподобляя связь индивидуума с народом соединению души с личностью и волей Бога в мистическом опыте.

Собственно вся сущность «позитивного» христианства в расизме и сводится к систематическому идолопоклонническому возведению расы, государства и социальной иерархии до степени религиозных категорий.

Царство Божие — Рейх.

Царство Сатаны — католичество, капиталистический либерализм, коммунистический марксизм и все другие порождения иудаизма, определяемого Розенбергом, «как существенная форма первородного греха». «Никто не удивится, говорит Гитлер, если в нашем народе олицетворение Дьявола, символа зла, принимает телесный образ Еврея».

Движение «немецкой веры» еще более «углубляет» эту пародийную тенденцию.

Наша церковь — германский фатерланд.

Наша Библия — немецкая душа.

Наши священники — все немцы, преисполненные сознания своей расы.

Наше исповедование — кровь и земля.

«Я верую в Немца, владыку над самим собою, рожденного под северным небом, страдавшего от папистов и последователей Мамонны, воскресшего после десятилетия страданий и отчаянья, из мрака национальной смерти..., восседающего рядом со своим Братом Назарянином, одесную Предвечного...».

Огромное количество подобных текстов, приводимых Э. Вермеем в его обширном труде «Доктрины немецкой революции»<sup>1)</sup>, свидетельствует, что представление о национал-социализме как о новой религии является одним из существенных моментов в сознании всех его вождей и апологетов. Сам Гитлер почитает себя реформатором, облеченным священной миссией и выражающим томление масс и волю Расы. Геббельс называет нацизм верой и настоящей религией, провоз-

<sup>1)</sup> Edmond Vermeil. Doctrinaires de la révolution allemande.

глашающей новое Евангелие, за которое стоит умирать. Розенберг посылает с идеей пятого Евангелия, Евангелия национальной чести, не допускающей наряду с собой никаких равных ценностей. Роберт Лей молится Гитлеру, как повому Христу, и видит в расизме божественное откровение, а в партии орден священников и проповедников, признанных блюсти священную доктрину.

Но, учитывая опасность религиозной борьбы для целостности и прочности режима, вождя третьего Рейха не решаются идти на окончательный разрыв с христианством. Попытки возрождения германского язычества были осуждены Гитлером и Розенбергом, как реакционные. Партия избирает путь не открытой борьбы с церквями, а создания чего-то аналогичного живо-церковничеству. От обоих исповеданий она требует полного принятия расизма и антисемитизма и в будущем усвоения «позитивного» христианства, утверждающего Христа в облике белокурого арийца, бога европейцев, «освобожденного от всей той ерунды, которой окружили его образ еврейские зелоты, вроде апостола Матфея, и материалистические раввины, вроде апостола Павла» (например, от «ложно приписываемых» Христу слов: «Если кто ударит тебя в правую щеку — подставь ему и левую», о любви к ближнему и т. п.).

В своей книге «Немецкий дневник де-Ружмон<sup>2)</sup>» приводит интересный документ, приоткрывающий истинный характер этого «очищения» христианства.

Из письма студента X.: «Я был приглашен моей корпорацией провести две недели в учебном лагере, организованном N. S. D. St. B. (Союз студентов национал-социалистов). Курс начался лекцией: «Наша кровь, наше мироощущение... Я стенографически записал главные формулы: «§ 24 программы Партии имеет в виду исключительно «позитивную религиозность». И только для большей ясности и единственности из-за того, что распространенная в стране религия — христианство, был принят термин «позитивное христианство»... Нам придется вести открытую борьбу с различными исповеданиями; но это будет не борьба насильем, так как исповедания умрут сами собой... Мы отбрасываем не только различные формы христианства, но и само христианство. Нужно бороться даже с христианами, лояльно желающими служить народу, так как их заблуждение пагубно для национального единства и, в силу чуждого расового происхождения, противоестественно. В христианстве нужно бороться: с неблагоприятными еврейским сказками, с догматом первородного греха, с еврейским дуализмом души и тела, с имморальностью любви к ближнему без предварительного выбора, с интернационализмом и т. д.»

Так, под прикрытием «позитивного христианства», правящая партия стремится перевоспитать новое поколение в духе религии, при-

знаваемой самими идеологами расизма противоположной христианству. «Наша эпоха — говорит Розенберг — отказывается от безграничного Абсолюта. Она отворачивается от всего того, что выходит за пределы живого органического существа; она отворачивается от учений, стремящихся мирными или насильственными путями к установлению сверх-человеческой общности всех человеческих душ. Таково было учение о христианизации мира и о спасении чрез посредство Христа, сошедшего на землю. Такова была мечта о гуманизации всего Человечества. Этот идеал был похоронен в кровавом хаосе мировой войны и заглушен появлением нового учения. У этого ветхого идеала еще остались жрецы и сторонники, проникающиеся все больше и больше фанатизмом — но жизнь пошла другим путем.»

В сознании самого Розенберга, это путь революции (вернее, контр-революции), против всей европейской христианской культуры: «15 век европейской истории показывают нам, что все нации... развивались в плаще универсальной концепции мира... Религиозный универсализм католичества, затем... протестантской догмы; универсализм морального и социального порядка, созданный французской революцией... Всеми этому национал-социалистическая Германия противопоставляет высшую ценность — Национальную честь».

Нужно сказать, что, утверждая себя как контр-революцию против «христианизации» мира, национал-социализм чрезвычайно последователен. Каждой стороне христианского идеала он противопоставляет идеал прямо противоположный, зовущий на путь возвращения к миру, каким он был до пришествия Христа.

Так вселенскому евангельскому Богу милосердия и абсолютной справедливости он противопоставляет «национального» Бога, подобно древним богам клана, племени или города, являющегося обожествленным олицетворением расового коллектива, утверждаемого как высшая реальность и ценность, несоизмеримая ни с какими другими. Упрощая и искажая мечту 18-го и 19-го немецких веков об органической и религиозной общине, идеологи расизма учат о Нации — теле Бога, нации — Церкви, предсуществующей своим членам и имеющей право требовать от них «тотальной» жертвы их жизнью и деятельностью.

Совершенно последовательно, противопоставляя себя христианству как мистической религии, соединяющей человека с Любовью Божией ко всему миру, к каждому человеку, кто бы он ни был, еврей или индеец, национал-социализм приходит к отрицанию и евангельского утверждения абсолютной ценности человеческой личности. Вся реальность индивидуума определяется только степенью, в какой в нем выражены законы крови и расовые качества.

Гегбельс учит — идеализм нации сообщает народу трансцендентную миссию. Он делает из нации великую реальность. И эта реальность

<sup>2)</sup> Denis de Rougemont. Journal d'Allemagne.

— индивидуум на службе общины. Что листья без дерева? Ничто. В органической жизни считается только дерево.

Не государство для индивидуумов, а индивидуумы для государства-расы. Право не есть дело Человечества, неизвестного миру, но означает защиту тоталитарного коллектива. Железная дисциплина заставит каждого действовать в интересах национального целого. Чувства любви и сострадания должны быть отвергнуты, ибо они не содержат в себе элемента действительности, необходимого для нации и государства. Главная доблесть северной души — полная преданность коллективу. «Солдатское товарищество» — вот великое таинство немецкой революции. «Блаженны поступающие всегда, как добрые товарищи».

Так, совершенно естественно, выступая как реакция против христианства, расизм приходит к отрицанию вырастающего из евангельской справедливости идеала демократии, утверждающего абсолютную ценность личности каждого человека, неприкосновенность ее прав и равенство в этом всех людей, объединяемых мистической любовью в одно всемирное братство. Каждой из сторон этого идеала замысел общественного строя нации противопоставляет идеал прямо-обратный: свободе — тотальную авторитарность, равенству — иерархичность, братству — аморфность обезличенной массы, ведомой вождем.

Гитлер различает «фюрера» и «массу». Расизму отвратителен эгалитаризм. Он стремится создать вид диктаторского аристократизма, последние или выражение авторитарного биологизма. Принцип расового неравенства и борьбы рас переносится внутрь народа. Выдвигается правящий, наиболее чистый в расовом отношении отбор, призванный вести массу. «Личность сливается с ответственным вождем. Персонализм для вождей, безличность для ведомого народа. Его аморфная, «пластическая» масса должна быть охвачена железной арматурой иерархически-построенного ордена правителей, образцами для которого должны служить корпус прусских офицеров и Тевтонский орден. Весь общественный строй основывается не на сотрудничестве, а на командовании и держится на «солдат — волях».

Наиболее законченное свое выражение этот политический и социальный солдатизм находит в учении Роберта Ляя, фюрера Фронта Труда. Биологический и расовый характер Нации-Церкви сливается у него с представлением общества как единой дисциплинированной армии рабочих-солдат. «Изгоните из ваших умов всякую мысль, не вдохновленную любовью к нашему народу. Исповедуйте всегда: Германия, Фюрер, национал-социализм. Исполняйте ваш долг и данные вам приказы, как солдаты, точно и практично, следуя самой строгой дисциплине».

Если представить себе, что в один прекрасный день у муравьев проснулось бы сознание, подобное человеческому, то та сила инстинкта, которая заставляет их работать для муравейника и жертвовать

всем для его сохранения, обратилась бы, вероятно, к их разуму в выражениях, напоминающих учение Ляя.

Действительно, идеал национал-социализма до странности напоминает первобытную структуру общества, воссоздаваемую социологами путем изучения кланов самых отсталых и выродившихся народностей.

Строй — большей частью «олигархический» и «монархический»: одновременно — собрание старейшин и абсолютная власть вождя, монополизировавшего в свою пользу власть тотема, обожествленного, коллективного и неделимого, имманентного клану связующего принципа, являющегося как бы гением или душой расы, самой сущностью, могуществом и державностью клана.

Здесь легко провести полную аналогию с правящим орденом нации с учением о Фюрере как выразителе «*Volkstum'a*», открывающим народу, светом своей мысли и духом своих решений, его глубокую, бессознательную волю. Поэтому власть фюрера не может быть ограничена никакой конституцией. Он «эманация» национальной воли. Это придает его действиям «почти сомнамбулическую уверенность», перед которой не могут устоять никакие препятствия...

«Индивидуум, с самого момента рождения, является пленником группы, в состав которой он входит. Она навязывает ему свои нравы, свои верования, свой образ жизни и заставляет его жениться в определенной среде. Солидарность членов этой группы совершенно тоталитарна. Не только их деятельность, но даже их мысль и выражения самых интимных чувств определяется социальным принуждением. Молодой австралиец, посвященный старейшинами в войны, становится живым оплотом принципов и ритуалов традиции, долженствующей обеспечить целостность и сохранность общества.»<sup>3)</sup>

Если заменить молодого австралийца молодым германцем, то все это типичное описание клана легко сможет сойти за столь же типичное в доктрине национал-социализма описание нации-церкви.

Наконец — авторитарный и иерархический, держащийся на железной, почти автоматической дисциплине строй первобытного общества порождается, прежде всего, инстинктом войны, необходимостью защищаться от всех других таких же термитообразных социальных групп. Стоит ли даже говорить, что вся организация гитлеровского рейха, превращающего весь народ в огромное военное поселение, не снившееся и Аракчееву, есть прежде всего организация, создаваемая для войны, этого основного закона жизни и прогресса, по учению нации. Первый натиск германской революции — мировая война 14-го года, был сорван не поражением немецкой армии, а тем, что общество оказалось недостаточно дисциплинированным, организованным и жертвенным, чтобы поддержать армию до конца.

<sup>3)</sup> R. Kreglinger. La Mentalité primitive.



Таким образом, если эволюцию человечества можно определить, как движение от природной раздробленности на враждующие друг с другом тоталитарные человеческие муравейники к питаемому мистической любовью Евангелия идеалу Божественного Града, обнимающего все человечество и строящегося на утверждении личности и свободы, равенства и братства всех людей, то «германская революция» есть процесс обратный, процесс возвращения к первобытному состоянию, и поэтому справедливо может быть названа мировой контр-эволюцией.

При чем, если бы даже в учении самих доктринеров наци этот замысел возвращения к органическому тоталитаризму общества не принял характера религиозной проповеди, мы все-таки были бы в праве говорить о национал-социализме, как о религии. Уже сам по себе процесс полного поглощения личности коллективом неизбежно сопровождается выделением религиозности подобного рода, сводящейся к сакральному культу вождя, олицетворяющего обожествляемый коллектив, хотя это обожествление и может выразиться в религиозной идеологии отличной от национал-социализма, например, как у дикарей, в представлениях, связанных с тотемом и маной, или даже обойтись совсем без всякой метафизики, как это имеет место в культе Сталина. Преимущество гитлеровцев в данном случае заключается, мне кажется, в том, что они создали учение, повидимому, с наибольшим соответствием выражающее эту религиозность, являющуюся как бы «секрецией» самого института стадности, лежащего в основании общества.

В своей упомянутой уже нами книге «Немецкий дневник» де-Ружмон дает описание митинга, на котором он присутствовал в Германии. «В свете прожектора на пороге появился человек в коричневом. Сорок тысяч рук подымаются, как одна. В оглушительном громе криков «гейль!», человек медленно продвигается к трибуне, приветствуя неторопливым епископским жестом. ...Никто не замечает, что у меня руки в карманах: они стоят напряженно-вытянувшись, равномерно крича и пожирая глазами это восторженно улыбающееся лицо; по их щекам текут слезы...

Я понял.

Это можно понять только по особой дрожи и биению сердца... То, что я испытываю сейчас, нужно назвать священным ужасом.

Я думал, что я присутствую на массовом митинге, при политической манифестации. На самом деле они справляют свой культ! Это совершается литургия, главная священная церемония религии, к которой я не принадлежу, и которая подавляет и отталкивает меня даже физически, с гораздо большей силой, чем все эти страшно напряженные тела...

Я никогда не забуду этого крика... Это был стон любви, вырвавшийся из души масс, мрачный и могучий стон народа, которым вла-

деет человек с зачарованной улыбкой, — чистый и простой, друг и непобедимый освободитель...».

Вернувшись с этого митинга, Ружмон написал своим друзьям во Францию: «Христиане, возвращайтесь в катакомбы. Ваша «религия» побеждена, ваши скромные церемонии, ваши маленькие собрания, ваши тягучие песни, все это будет сметено. Вам останется только вера. Но именно тогда начнется настоящая борьба».

Ни в какой степени не будучи фрейдистом, де-Ружмон несколько раз подчеркивает эротический характер массовой психологии современной Германии.

«В этой стране все, связанное с оружием и войной, соединяется с необыкновенным волнением чувств. Мне трудно не видеть что-то непристойное в этой возбужденности «освобожденного» населения. Я вспоминаю, что «freien» (освобождать) значит также жениться. Занятие Рейнской области — род сексуального акта, во всяком случае в меньшей степени, чем акт политический. Как иначе объяснить эту странную эйфорию, разлившуюся в воздухе города, в движении толпы, в перекрестных взглядах и непапад сказанных слов?».

Все знают по кинематографическим хроникам эту картину, описываемую Ружмоном: исступленно-восторженные лица, с расширенными глазами, кричащие в изнеможении счастья, шлемы солдат, знамени, и мимо медленно проплывает в автомобиле, как несомый на носилках идол бога воинств, человек с «мелко-буржуазным» лицом и чаплинскими усиками.

Все это невольно заставляет вспомнить Фрейда, по мнению которого в толле происходит такое же перенесение идеала своего «я» на «предмет», как при половой любви: «первичная толпа представляется собранием индивидуумов, заменивших свой идеал «я» одним и тем же, общим для всех предметом, что влечет за собою отождествление друг с другом их собственных я».

Не знаю, читали ли идеологи национал-социализма Фрейда, но все их учение определяет соотношение Фюрера и обезличенной массы совершенно подобно тому, как Фрейд описывает роль вожака орды. Особенно ясно и цинично эта теория властного командования толпой, массами, народом выражена у Геббельса: «Немец переходит от печального и серого ежедневного труда к коллективному опьянению, рождаемому праздниками». (С цинизмом всех «великих инквизиторов» Геббельс называет эту изменчивость «романтическим реализмом»). Нужно не любить массы, а вести их за собой, говорить на понятном им языке. При этом психологию массы Геббельс определяет почти совершенно так же, как Фрейд (такая же, как у детей и у неврастенников): иллогичность — самые противоречивые идеи могут сосуществовать, не мешая друг другу, подвластность магической силе слов и образов (табу имен у дикарей), освобождение буртавных изначальных инстинктов, дремлющих в глубине каждого.

Пропаганда должна сделать эти инстинкты народа сознательными: массы любят нетерпимость и грубость. Им нужно дать не абстрактную программу, но Образ мира, который сосредоточит их на Еврее, общем враге, и на национальном единении, или общем Долге.

Пропаганда, должна проникать всю жизнь «как газ, вбедающийся даже в самые плотные тела». Она должна быть безграничной в своем разнообразии и гибкости приспособления: для каждой социальной группы своя, особо приуроченная пропаганда. Она должна вестись повсюду, «даже в трамвае».

Обладая всеми ресурсами современной техники (печать, радио, кинематограф), эта пропаганда должна непрерывно поддерживать в немцах психическое состояние орды. Повидимому, как и в советской России, сегодня в Германии у человека не бывает ни одной минуты, когда бы он мог опомниться от оьянения, остаться наедине со своею совестью. Даже когда физически он не участвует в каком-нибудь коллективном действии, пропаганда все время поддерживает его сознание в том гипнотическом состоянии зараженности массовой психологией, о характере которого можно составить представление, по приводимым мною выше цитатам из Ружмона, Фрейда и самих доктринеров национал-социализма.

В задание моей статьи не входит разбор всех сложных причин, породивших германскую «революцию» и определивших ее характер. Мне хотелось только, дав хотя бы самый беглый очерк сопровождавшей ее пародии реформации, указать на ту реальную опасность срыва всей эволюции человечества, которую она с собой несет.

Правда, самое это слово «эволюция» имеет столько толкований, что собственно не вызывает никаких точных представлений. Поэтому, во избежание недоразумений, оговорюсь: — я принимаю его в значении, какое придал ему Бергсон: «Вселенная есть машина для создания богов». Тогда сущность национал-социализма можно определить, как попытку остановить действие этой машины и заставить человечество пойти в обратном направлении — превращения человека, созданного по образу и подобию Божию, в жестокое и сомнамбулическое двуногое насекомое.

Д. Владимиров.

Цѣна 10 франц. фр

**REVUE TRIMESTRIELLE**

Dépositaire: YMCA-Presses

29, rue Saint-Didier, 29

P A R I S